

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



Ф. М. Достоевский
**ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И
НАКАЗАНИЕ**



Школьная библиотека (Детская литература)

Федор Достоевский

Преступление и наказание

Издательство «Детская литература»

1866

УДК 882-93-3
ББК 84(2Рос=Рус)1-4

Достоевский Ф. М.

Преступление и наказание / Ф. М. Достоевский — Издательство «Детская литература», 1866 — (Школьная библиотека (Детская литература))

ISBN 5-08-003991-4

Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» издается с предисловием К. Степаняна и комментариями.

УДК 882-93-3
ББК 84(2Рос=Рус)1-4

ISBN 5-08-003991-4

© Достоевский Ф. М., 1866
© Издательство «Детская литература», 1866

Содержание

Смерть и спасение Родиона Раскольникова	6
Часть первая	18
Часть вторая	71
Конец ознакомительного фрагмента.	90

Федор Достоевский

Преступление и наказание

© Издательство «Детская литература». Оформление, комментарии, 2001

© К. Степанян. Вступительная статья, 2001

© Ю. Гершкович. Иллюстрации, 2001

Смерть и спасение Родиона Раскольникова

Это роман о том, как петербургский студент Родион Раскольников боролся с одним из величайших искушений в истории человечества. Вернее, даже не с одним, а сразу с двумя. И, как бы это ни показалось поначалу странным, столкнуться с ними предстоит каждому из нас, когда мы только начинаем задумываться об устройстве мира и нашем месте в нем.

Сущность первого искушения, ставшего затем роковым замыслом Раскольникова, изложена в коротком разговоре офицера и студента, подслушанном однажды Раскольниковым в трактире. Речь идет об одной старухе процентщице, которая, по словам студента, страшно зла и скупа, накопила огромное состояние и все деньги завещала в один из монастырей на вечный помин души. Студент говорит:

«Я бы эту проклятую старуху убил и ограбил, и уверяю тебя, что без всякого зазору совести», – и объясняет почему: «... с одной стороны, глупая, бессмысленная, ничтожная, злая, большая старушонка, никому не нужная и, напротив, всем вредная, которая сама не знает, для чего живет, и которая завтра же сама собой умрет. Понимаешь? Понимаешь?

– Ну, понимаю, – отвечал офицер, внимательно уставясь в горячившегося товарища.

– Слушай дальше. С другой стороны, молодые, свежие силы, пропадающие даром без поддержки, и это тысячами, и это всюду! Сто, тысячу добрых дел и начинаний, которые можно устроить и поправить на старухины деньги, обреченные в монастырь! Сотни, тысячи, может быть, существований, направленных на дорогу; десятки семейств, спасенных от нищеты, от разложения, от гибели, от разврата, от венерических больниц, – и все это на ее деньги. Убей ее и возьми ее деньги, с тем чтобы с их помощью посвятить потом себя на служение всему человечеству и общему делу: как ты думаешь, не загладится ли одно, крошечное преступленье тысячами добрых дел? За одну жизнь – тысячи жизней, спасенных от гниения и разложения. Одна смерть и сто жизней взамен – да ведь тут арифметика! Да и что значит на общих весах жизнь этой чахоточной, глупой и злой старушонки? Не более как жизнь вши, таракана, да и того не стоит, потому что старушонка вредна. Она чужую жизнь заедает: она наемни Лизавете палец со зла укусила; чуть-чуть не отрезали!»

Логика здесь четкая – и все, кажется, *справедливо*. Логика эта лежит в основе всех больших и малых революций и соблазняла и соблазняет десятки и сотни тысяч человек, в них по искреннему убеждению участвующих. Насилие, кровь и жестокость, неизбежные во всякой революции, они оправдывают именно грядущим счастьем большинства и даже с пафосом вопрошают тех, кто указывает на страдания жертв революции: «Вам что же, не дорого счастье всего народа?» Но ужас такой «арифметики» (это слово часто повторяется в романе как гарантия правильности рассуждений) заключается в том, что если ради счастья десяти можно пожертвовать одним, то, значит, ради счастья ста можно потом пожертвовать этими (или другими) десятью, ради тысячи – сотней, ради десяти тысяч... и так до целых народов, что в общем всегда и происходило в революциях, когда до власти добирались беспринципные проходимцы, а зачинатели-идеологи оказывались в лучшем случае выброшены на свалку. Некоторые из них впоследствии раскаялись, многие ушли в мир иной, убежденные в своей правоте, но всем им, как и Раскольникову, теория «справедливой арифметики» сломала жизнь. Но жертвами ее становились и могут стать не одни только революционеры.

Если вы изначально уже видите, в чем неправота этой логики, вам будет легко принять и понять роман «Преступление и наказание». Если же и вам эта логика представляется убедительной, задумайтесь вот над чем.

Человек на земле, конечно, многое может, но еще никому и никогда не удавалось создать жизнь – то есть из неживого создать живое. Жизнь на земле создана Богом, первые люди – Адам и Ева, – да и весь мир – тоже Им, и потому мы не имеем права распоряжаться тем, что

не нами создано и не нам принадлежит. Но человек создан *свободным*, потому что Богу (и нам самим) нужна любовь к Нему и вера в Него не из-под палки, а по свободному выбору. Поэтому человеку необходимо всякий раз самостоятельно совершать выбор между добром и злом, каждый из нас может стать величайшим святым, и каждому оставлена возможность грешить. В том числе и совершить самый страшный грех – отнять жизнь у других людей или у самого себя. Однако в душе каждый из нас *знает*, что жизнь – чудесный дар, который не дается дважды, и потому очень мало кто из людей решается на такое преступление, даже логически обоснованное. Вот и окончание услышанной Раскольниковым беседы было таким:

«– Вот ты теперь говоришь и ораторствуешь, а скажи ты мне: убьешь ты *сам* старуху или нет?»

– Разумеется, нет! Я для справедливости... Не во мне тут и дело...

– А по-моему, коль ты сам не решаешься, так нет тут никакой и справедливости!»

Но тогда возникает второе искушение, с которым таким, как Раскольников, справиться тяжелее. Впрочем, давайте здесь остановимся и посмотрим, кто же такой Родион Раскольников и почему он стал героем одного из величайших романов в мировой литературе.

Семья Раскольниковых из маленького провинциального городка, отец его рано умер, а для матери и сестры Дуни их обожаемый Родя – «наше все», «свет в окошке». Он должен учиться в столице, и они из последних сил пытаются помочь ему деньгами и заботой. Но денег постоянно не хватает, и Дуня устраивается гувернанткой, однако из-за домогательств помещика Свидригайлова вынуждена уйти. Тогда Дуня решается на отчаянный шаг – выйти замуж за не любимого ею пожилого дельца Лужина, чтобы обеспечить семью. Раскольников бедствует, как и большинство его друзей-студентов, не имеющих богатой родни. Но они – например, приятель Раскольникова Разумихин – пытаются заработать на жизнь и учебу: частными уроками, переводами. Однако бедность глубоко оскорбляет Раскольникова – она кажется ему *несправедливой*; он не хочет *бороться* с бедностью, он хочет кардинально изменить саму ситуацию.

Тема справедливости часто будет звучать в романе, поэтому рассмотрим ее подробнее. Обычно люди, считающие, что мир устроен несправедливо или с ними жизнь обходится несправедливо, исходят из того, что они-то точно знают, кто чего заслуживает (то есть опять-таки претендуют на роль Бога). При этом применительно к себе речь идет по преимуществу о недополученных благах, условно говоря, о «поощрении», но никак не о малости наказания. А ведь если уж речь заходит о справедливости, то и наказаны все должны быть за все свои грехи по тому же закону справедливости. И трудно даже себе представить, как с каждым из нас следовало бы обоиться в подобном случае (если еще учесть, что поборниками справедливости редко бывают по-настоящему добрые и безгрешные люди)! Но, к счастью для нас, Бог руководствуется не справедливостью, а милосердием. Он вообще никого не наказывает, наказывает себя и своих близких собственными грехами и их последствиями сам человек.

Но скажем и о другом. Легко так рассуждать теоретически, а когда человеку в буквальном смысле нечего есть, все, что можно и нельзя (даже часы – память об отце), заложено, любимая сестра вынуждена, по сути, продать себя расчетливому дельцу, мать слепнет за грошовым шитьем, а рядом у людей денег, что называется, куры не клюют – тут в голову могут прийти самые безумные мысли и желания. Сам Достоевский очень часто бедствовал, нередко оказываясь в ситуациях, когда нечем было платить за квартиру или номер в гостинице. Как раз в период написания «Преступления и наказания» он находился в подобном положении. За долги пришлось закрыть журнал «Эпоха», который он издавал вместе с братом Михаилом и который был единственным источником их доходов. Не выдержав многочисленных испытаний, Михаил умер сорока четырех лет от роду от внезапной болезни печени, и на руках Достоевского (который незадолго до того похоронил первую жену Марию Дмитриевну) остается семей-

ство брата – и огромные долги. Достоевский так бедствовал в это время, что тоже закладывал вещи, – например, ему пришлось заложить даже свои платки за два рубля (хотя в экономически мощной тогда России соотношение рубля и доллара было прямо противоположно сегодняшнему – 1 рубль стоил 30 долларов, но все же...). Что такое безысходная бедность, он знал не понаслышке. Достоевский вообще очень часто использовал в творчестве собственный жизненный опыт, но ни в коем случае не следует отождествлять кого-либо из героев с ним самим: это самостоятельные личности со *своим* мировоззрением, и если даже, как в данном случае, повествование ведется в основном с точки зрения героя (здесь Раскольникова), автор постоянно сохраняет идейно-смысловую дистанцию по отношению к нему. А возвращаясь к сходству жизненных обстоятельств Достоевского и Раскольникова (или Раскольникова и некоторых других персонажей романа), можно сказать так: есть люди, которые в самых невыносимых условиях ищут выход в себе, используя свои возможности и ресурсы, а другие – вовне.

Раскольников бросает учебу, уединяется от всех, почти не выходит из своей каморки – маленькой, похожей на гроб комнатки под самой крышей, которую он снимает (и давно уже за нее не платит), лежит на своем диване и *мечтает*, как следует устроить мир. Вот тут-то и созревает в его уме страшный замысел, родившийся после первого визита к процентщице и подслушанного затем разговора в трактире: убив и ограбив старуху, с помощью этих денег избавить наконец от бедности себя, мать и Дуню, закончить учебу, спасти Дуню от постылого замужества и совершить еще много добрых дел, помогая бедным и обездоленным – «чем уж, конечно, загладится преступление».

Но ведь реальное убийство – это страшное, кровавое дело, и человеческая натура Раскольникова всячески протестует против этого чудовищного и безобразного поступка. Он даже не решается *назвать* то, что он собирается совершить, произнеся, хотя бы про себя, слова «убийство», «убийца», «грабеж», – предпочитает заменять их: «это», «проба», «дело», «тогда», «после того»¹. И видимо, он вскоре отказался бы от своего замысла, но тут вступает в силу другое искушение, пострашнее первого.

Еще в период учебы в университете он написал статью, где изложил свои представления о разделении человечества на два разряда: «необыкновенных людей» и «материал». Первые – Наполеон, Ликург, Солон, Ньютон, Магомет – делают «новый шаг», изменяют мир, зачастую не останавливаясь ни перед чем, даже перед многотысячными жертвами, не считаясь с понятиями добра и зла. Их задача – выполнить свою миссию, и потому они имеют право на «кровь по совести», то есть как бы разрешение на пролитие крови. Остальные – ведомые, грубо говоря, стадо; они иногда признают избранных еще при жизни и поклоняются им, а иногда – преследуют, заточают в тюрьмы, убивают, но в следующих поколениях все равно превозносят и ставят им памятники.

Но вот проблема – сам Раскольников относится к разряду высших или к «материалу»? К «материалу» – не хочется (что и доказывает уже ложность теории), но как убедиться, что ты относишься к избранным, если не полководец и не государственный деятель? И Раскольников решает проверить на этом, «смешном» с точки зрения мировых дел (как ему кажется), случае: сможет он взять на себя «кровь по совести», восстановить справедливость, «перераспределить» деньги процентщицы среди тех, кто этого заслуживает, – значит, и он среди «право имеющих».

Однажды пустив зло в душу, позволив ему завладеть своими помыслами, человек постепенно теряет силу к сопротивлению – все вокруг, кажется ему, подталкивает его к этому поступку (случайно подслушанный разговор в трактире, горестное письмо из дому, встреча на бульваре с поруганной девочкой). Но Господь всегда опекает человека, не забывает ни о ком из нас, поэтому в такие дни, которые определяют судьбу, человеку особенно важно осмыслить все, что происходит с ним... В один из таких дней Раскольников встречает в трактире ста-

¹ Наблюдение профессора В. Захарова (Петрозаводск).

рого чиновника Мармеладова, который подсаживается к нему и рассказывает историю своей жизни. Первая жена его умерла, оставив ему дочь Соню. Он женился вторично на Катерине Ивановне, женщине благородного происхождения и образованной, вдове с тремя детьми. Но склонность Мармеладова к пьянству и слабость характера не позволяли получить приличную работу надолго – и в конце концов семейство впало в совершенную нищету. И вот однажды, когда в доме нечего было есть, а сам Мармеладов в очередной раз «лежал пьяненькой», – Соня (подвигнутая еще и оскорбительным замечанием мачехи) уходит вечером на улицу и возвращается вскоре с деньгами. Она «пошла по желтому билету» – то есть стала официально зарегистрированной в полицейском участке проституткой; и с тех пор этот ее *заработок* – единственное средство существования семьи. Мармеладов горько оплакивает свои грехи, но из глубины своего падения произносит вдохновенный гимн Богу, пронизанный страстной верой в безграничное милосердие Господа, Который не забывает ни одного из несчастных и падших. И поразительно: сознающий себя хуже последних грешников, Мармеладов заканчивает свое признание восклицанием: «Господи, да приидет Царствие Твое!»

Но Раскольникову в жизни Мармеладова открывается совсем другое. «Сонечка, вечная Сонечка!» – восклицает он; он видит здесь подтверждение своей мысли о том, что все в мире держится на насилии и жертве, и такой порядок нужно изменить. Но мир действительно держится на жертве – добровольном самопожертвовании, начало которого положено Христом, отдавшим Себя на распятие. Раскольников же, вроде бы стремясь помочь *жертвам*, на самом деле лишь готовится сам стать насильником и добавить к числу жертв еще одну² (и даже не одну, как потом окажется).

Накануне преступления Раскольникову, забывшемуся коротким сном в пригородном парке, снится страшный сон. Он, маленький еще мальчик, гуляя с отцом в своем родном городе, становится свидетелем страшной сцены: пьяный мужик в злобе – «Мое добро! Что хочу, то и делаю!» – засекает до смерти кнутом, а потом оглоблей и ломом тощую, слабую лошаденку, которая никак не может сдвинуть тяжело груженную телегу. Сон этот, кажется, вразумляет Раскольникова – проснувшись в ужасе, он думает: «Да неужели ж, неужели ж я в самом деле возьму топор, стану бить по голове, размозжу ей череп... буду скользить в липкой, теплой крови, взламывать замок, красть...» – и обращается к Богу: «Господи!.. покажи мне путь мой, а я отрекаюсь от этой проклятой... мечты моей!» Тут ему становится «тихо и спокойно» на душе, что должно бы ясно указать на верность принятого решения.

Сон Раскольникова важен во многих отношениях. Помимо непосредственного ужаса убийства живого существа, он показывает, сколь ужасен человек, осуществляющий «свое право», а ответить на детский вопрос: «За что бедную лошадку убили?» – невозможно в принципе – убийство не может быть оправдано и объяснено в Божием мире. Но в то же время Раскольников видит себя в этом сне невинным маленьким ребенком, пытающимся защитить жертву и оплакивающим ее, лошадь – тощей и слабой, а воз, в который она впряжена, – неподъемно тяжелым. В жизни будет все не так: в самом начале романа мимо Раскольникова по улице проскачет огромная ломовая лошадь, запряженная в почти пустую телегу, в которой сидит какой-то пьяный мужичок³; страшный – во сне – насильник Миколка обернется в реальности добрым деревенским пареньком, берущим на себя вину за убийство, совершенное Раскольниковым. «Революционерам» обычно кажется, что мир вокруг погружен в несчастья и страдания и ждет только их вмешательства; в действительности дело обстоит далеко не так. Здесь можно вспомнить, например, эпизод из истории французской революции 1789 года. Когда толпы восставших ворвались в «страшную» тюрьму Бастилию, думая найти там и освободить тысячи

² Это наблюдение литературоведа И. Бражникова (Москва).

³ Этот пример и его трактовка приведены в исследовании доктора филологических наук Т. Касаткиной (Москва).

жертв самодержавия, то во всей огромной тюрьме оказалось лишь восемь заключенных – двое душевнобольных, пятеро фальшивомонетчиков и печально известный маркиз де Сад.

Сон Раскольникова показывает мучительный разлад всего его внутреннего существа: ужас его человеческой природы, которая протестует против планов поврежденного ума, и иллюзорное, искаженное представление о мире, служащее для него оправданием преступного замысла.

И после торжественного отречения от этого замысла, возвращаясь домой другим путем, Раскольников случайно подслушивает разговор сестры процентщицы Лизаветы с какими-то мещанином и бабой и понимает, что назавтра «в семом часу» Лизавета уйдет и старуха останется одна. Забыв о своем отречении, Раскольников воспринимает это известие как указание на то, что именно завтра в это время он и должен осуществить свой замысел. Домой он входит, «как приговоренный к смерти». Это состояние свойственно многим людям, как бы и не желающим совершить грех, но уже настолько подчинившим себя злу, что недостает воли и сил на сопротивление.

И вот он – еще совсем недавно тихий, домашний мальчик Родя, молившийся с матерью в церкви, крадет в дворницкой топор, обманом проникает в дом процентщицы и в ужасе сам от себя бьет старуху по голове. Но тут происходит первая *неожиданность*: идя вслед за старухой в комнату, он не запер входную дверь, а Лизавета, смиренная и кроткая сестра ростовщицы, вернулась раньше срока. Обезумевший Раскольников, уже ничего не понимая, бросается с топором и на нее...

На следующее утро его вызывают по повестке в полицию (за неуплату долга квартирной хозяйке, но он этого сперва не понимает). Перед визитом в контору Раскольников хочет помолиться, но не делает этого, по пути и в самом участке хочет признаться и покаяться, но взамен этого произносит псевдоисповедь – рассказывает историю своих отношений с хозяйкой и ее дочерью, пытаясь разжалобить полицейских.

И вот тут он чувствует, что сердце его внезапно «опустело», он ощутил «бесконечное уединение и отчуждение» от всех людей, понял, что его положение в мире принципиально изменилось. Человек, по своей воле выламывающийся из божественного миропорядка, словно воздвигает какую-то незримую стену между собой и миром. Раскольников уже не может нормально общаться с людьми – все они вызывают у него или злобу и раздражение (даже самые близкие – мать, сестра, Разумихин, всячески пытающийся помочь ему), или страх (а вдруг им что-то известно о его преступлении?). При этом прежняя гордыня еще сильна в нем – он с негодованием прогоняет жениха Дуни Лужина, обвиняя того в эгоизме и хищничестве и в том, что если довести до конца его теорию («все на свете на личном интересе основано»), то «выйдет, что людей можно резать», – но Лужин на пути к своему богатству еще никого не зарезал. Раскольников обвиняет сестру в низости и подлости за согласие на брак с Лужиным, но Дуня возражает, что губит только себя одну и, ни о чем не подозревая, добавляет: «Я еще никого не зарезала!» – чем доводит брата почти до обморока. Проходившая по улице купчиха с девушкой, пораженная нищенским видом Раскольникова, подает ему монетку, но он в злобе выбрасывает ее в реку, тем самым отрезая себя от проявляемого к нему миром милосердия. Во сне ему слышатся страшные крики, и объяснение кухарки: «Это кровь в тебе кричит» (имеется в виду то, что мы сейчас называем «высоким давлением»), – приводит Раскольникова в ужас...

Не буду описывать здесь подробно те жесточайшие муки, которые довелось пережить Раскольникову. Достоевский намеренно ведет повествование почти постоянно с его точки зрения, чтобы мы, читатели, прошли этот путь вместе с героем. Однако сам Достоевский мало заметными, но четкими указаниями напоминает о себе. Вот, например, в начале романа: «И если бы в ту минуту он в состоянии был правильнее видеть и рассуждать; если бы только мог сообразить все трудности своего положения, все отчаяние, все безобразие и всю нелепость его, понять при этом, сколько затруднений, а может быть, и злодейств еще остается ему преодолеть

и совершить...» Или в конце: «Он <...> не мог понять, что уж и тогда, когда стоял над рекой, может быть, предчувствовал в себе и в убеждениях своих глубокую ложь».

Не в силах справиться с нарастающими тоской и отчаянием, Раскольников вновь отправляется на место своего преступления. Возвращается наяву, а потом во сне. Прочтите внимательно этот «второй» сон Раскольникова – в отличие от первого, еще до преступления, он совершенно беспросветен и ужасен, там уже нет отца и маленького мальчика, там уже полное торжество жутко хохочущих сил зла, получивших во владение еще одну человеческую душу...

Но Господь и тут не оставляет человека, продолжая посылать ему возможности ко спасению. Когда Раскольников ночью, после повторного визита в ту квартиру, где совершил убийство, уже в полном отчаянии и мраке – и внешнем, и внутреннем – стоит на улице, он видит вдалеке огонек и слышит голоса. Это возвращавшийся домой пьяный Мармеладов попал под копыта пронесившегося по улице рысака. Помогая донести раздавленного старика до дома, Раскольников вторично попадает в дом Мармеладова, где впервые встречается с Соней.

Мучения жены Мармеладова, Катерины Ивановны, усугубляются тем, что она, как и Раскольников, постоянно растравляет себя мыслями о *несправедливости* происходящего с ней и ее детьми. Она не вспоминает о своих прегрешениях – о том, скажем, как мучила Соню (хотя вину перед Соней за тот роковой вечер ощущает постоянно), она не в состоянии простить своего мужа даже перед смертью, обращаясь к укоряющему ее священнику и указывая на мужа: «А это не грех?» Но и священник не упрекает ее за это, чувствуя всю глубину ее отчаяния...

Потрясенный горем и трагедией этой семьи, Раскольников отдает им все оставшиеся у него из присланных в последний раз матерью денег. Когда он уходит, внизу, в дверях, его догоняет одна из дочерей Катерины Ивановны, маленькая Поля, со словами благодарности и приглашением от матери – прийти на поминки. Раскольников просит ребенка молиться за него. Это первое доброе дело за долгий срок своей оторванности от Бога и первое обращение к Нему придают измученному Раскольникову силы, но опять он ложно понимает этот намек – как возможность продолжать борьбу. «Царство рассудка и света теперь и... и воли и силы... и посмотрим теперь! Померяемся теперь!» Но его тут же поправляет Достоевский: «Сила, сила нужна: без силы ничего не возьмешь, а силу надо добывать силой же, вот этого-то они и не знают», – прибавил он гордо и самоуверенно и **пошел, едва переводя ноги, с моста** (подчеркнуто мною. – К. С.).

Дело об убийстве старухи и ее сестры ведет опытный следователь Порфирий Петрович, родственник Разумихина. Узнав о поведении Раскольникова – одного из клиентов процентщицы, как он выяснил, – и вспомнив читанную недавно статью его о делении людей на два разряда и «крови по совести», он догадывается обо всем. Но прямых доказательств нет – и Порфирий начинает психологическую дуэль с Раскольниковым с целью заставить его признаться.

При первой встрече он высмеивает раскольниковскую теорию о делении людей на два разряда: «Ну как иной какой-нибудь муж, али юноша, вообразит, что он Ликург али Магомет... – будущий, разумеется, – да и давай устранять к тому все препятствия... Предстоит, дескать, далекий поход, а в поход деньги нужны... ну и начнет добывать себе для похода... знаете?» Но Раскольников, все еще мнящий себя героем, презрительно отвечает: «Так что же? Общество ведь слишком обеспечено ссылками, тюрьмами, судебными следователями, каторгами, – чего же беспокоиться? И ищите вора!..» Затем следователь пытается заманить Раскольникова в ловушку – признать, что он был у старухи в день убийства; Раскольников не признается в этом, искусно избегнув ловушки Порфирия. Ко второй их встрече Порфирий приберегает козырь – мещанина, который видел Раскольникова, приходившего на место убийства, и его странное поведение там. Следователь прячет мещанина в соседней комнате и намеревается, доведя Раскольникова до нужного психологического состояния, вывести свидетеля. Но этот замысел неожиданно разрушает молодой маляр Миколка (нашедший оброненный Раскольниковым футляр с серьгами и предварительно арестованный по подозрению в убийстве).

Он врывается к следователю с признанием в убийстве (недавно приехавший из деревни в столицу, поддавшийся многим ее соблазнам, Миколка решает, приняв на себя чужую вину, пострадать и тем искупить свои прегрешения). Этим он спасает Раскольникова от *вынужденного, недобровольного* признания. Не ожидавший этого, Порфирий Петрович на мгновение теряется, и Раскольников уходит, приободрившись и решая: «Теперь мы еще поборемся».

Но Раскольникову надо убедиться, что он по-прежнему силен, что он лидер. Да и одиночество, невозможность поговорить хоть с кем-то замучили его. И он идет к Соне, рассуждая при этом так: они оба преступники – он убил *других*, она убила себя (ибо грех блуда, на который решилась Соня, спасая семью от голода, есть смертный грех), они оба преступили закон, нормы и правила общества, она должна понять его... Раскольников предлагает ей «пойти вместе» – за «силой и властью», властью «над всей дрожащей тварью», «над всем муравейником». Он еще видит себя – и хочет видеть рядом Соню – в роли некоего «сверхчеловека», героя и благодетеля человечества, он по-прежнему думает, что он, как и Соня, совершил преступление ради помощи ближним. Но он не учел двух вещей: приносить в жертву каким бы то ни было целям *себя* или *других* – огромная разница; и второе: Соня вовсе не утешает себя высокими словами о самопожертвовании ради ближних, о принятии на себя страдания и прочем, и уж тем более не думает о своем превосходстве над другими. Она ощущает себя великой грешницей и все упование свое возлагает на Бога, не расставаясь с Евангелием. В этом ее главное отличие от тех, кто – и тогда, и сейчас – выходит на ее путь, оправдывая себя тем, что иной возможности обеспечить *нормальное* существование нет (под «нормальным» понимая отнюдь не кусок черного хлеба для спасения от голода маленьких сестренок и братика).

И Соня, тихая, кроткая и никогда ничему особенно не учившаяся Соня, необыкновенно просто разрушает все хитроумные построения, придуманные в свое оправдание Раскольниковым.

Встречи с Соней – решающие в судьбе Раскольникова. По ним ясно видно, как мечется и постепенно нащупывает свой путь к истине его душа.

Незадолго до второй их встречи, во время поминок по Мармеладову, Лужин, чтобы опорочить Соню, а через нее Раскольникова в глазах Дуни и их матери, сначала тайком подсовывает Соне деньги, а потом публично пытается обвинить ее в воровстве. Лишь благодаря *случайности* (на самом деле случайностей в Божьем мире не бывает) этот план проваливается. А если б он осуществился, Соню посадили бы в тюрьму, и ее маленькие сестры и брат, оставшись сиротами (смертельно больной Катерине Ивановне недолго осталось жить), умерли бы с голода. И вот Раскольников задает Соне вопрос, на который, по его мнению, можно дать только один ответ – и тем стать на его, Раскольникова, сторону: что бы она решила, если б нужно было выбрать – подлецу Лужину ли жить или ей, Соне, идти в тюрьму, а Полечке, ее братику и сестре умирать с голоду? Но Соня отвечает так, как только и может ответить истинно верующий в Бога человек: «Да ведь я Божьего промысла знать не могу... <...> И кто меня тут судьей поставил: кому жить, кому не жить?» Удивленный ее верой – при том ужасающем внешнем положении, в котором она находится, – Раскольников спрашивает ее: «А тебе Бог что за это делает?» – и опять Соня дает потрясающе *простой* ответ: «Все делает».

Но как же, действительно, совместить истинную веру Сони и несчастья ее и ее близких? Как вообще совместить существование всеблагого Бога и существование зла, мучения добрых людей, тем более страдания невинных? Это невозможно, если видеть мир только в земных границах, если считать, что наша жизнь заканчивается с физической смертью. Но если мы видим весь божественный мир в его целом, все меняется (как меняется наш взгляд на какую-либо местность, если мы смотрим на нее снизу, с земли, или сверху, например с самолета). Жизнь человеческой души не заканчивается со смертью, она (душа) переходит в мир иной, и мы можем лишь в редкие минуты нашего полного счастья на земле почувствовать, хотя и приблизительно, то блаженство, какое ожидает нас там, рядом с Богом (из этого, конечно, не

следует, что надо пренебрегать земной жизнью, своей и окружающих, – жизнь *каждого* из нас имеет величайший смысл). Но от этого блаженства могут *добровольно* отказаться те, кто здесь, на земле, отворачивается от Бога, решая, что можно творить любое зло во имя собственного блага. И потому зло тоже, увы, существует. Бог мог бы, конечно, сделать так, чтобы каждое злое дело тут же получало возмездие, а доброе – награду, дети до определенного возраста существовали в некоем загоне, отделенном от остального мира, и так далее, – но тогда мир был бы похож на клетку с дрессируемыми мышами и ни о какой вере речь бы не могла идти. Не было бы и такого чуда, как любовь к Богу (ибо какая может быть любовь к дрессировщику?). Но любовь эта отнюдь не безответна – для помощи человеку Бог избрал единственно верный путь: жертвенный. Сойдя на землю, воплотившись в человека, претерпев невиданные муки и распятие, Бог указал всем этот путь ко спасению: через веру и любовь.

Но любовь ценнее и сильнее та, которая выстрадана. И испытания, посылаемые Богом (и «материальные» трудности, и внутренние сомнения), лишь закаляют и укрепляют подлинную любовь – и разрушают фальшивую... Сам Достоевский так определял (в записях для себя) суть романа «Преступление и наказание»: «Идея романа. I. Православное воззрение, в чем есть Православие. Нет счастья в комфорте, покупается счастье страданием. <...> Человек не рождается для счастья. Человек заслуживает счастье, и всегда страданием. <...> Жизненное знание и сознание <...> приобретается опытом *pro* и *contra* («за» и «против». – К. С.), которое нужно перетащить на себе». Испытания, которые Соне довелось претерпеть, грязь, в которую ей пришлось опуститься, удивительным образом лишь очистили ее душу. Сила и чистота ее веры вначале вызвали отторжение у Раскольникова, который принял ее за юродивую или вовсе тронувшуюся умом от страданий (такова частая реакция людей, отгораживающихся от Бога, – они считают искренне верующих либо дураками, либо сумасшедшими, либо лицемерами). Но постепенно ее вера убеждает его, он даже кланяется ей, ее страданию, и целует ей ногу (еще вполне героико-романтический жест). Он просит ее прочесть ему из Евангелия от Иоанна главу о том, как Христос, во время своего пребывания на земле, воскресил умершего Лазаря, который уже четыре дня был в гробе (а к тому времени после совершенного Раскольниковым преступления тоже прошло четыре дня). Христос сделал это перед самым концом Своей земной жизни, чтобы явить Свое господство над смертью и показать, что воскреснуть, победив смерть, может не только Бог, но и, с Божией помощью, всякий человек, и каждый может к этому стремиться. Хотя Раскольников, как и многие из нас, примерял на себя роль Бога, считая себя вправе решать все вопросы земного устройства, своего и окружающих, тем не менее он надеется, что где-то там, в далеком будущем, Бог в конце концов поможет и спасет. Потрясающее чтение Сони производит сильное впечатление на Раскольникова, он решает признаться ей в убийстве. Раскольников делает это признание во время своего второго прихода к Соне; но итогом разговора с ней становится и его признание самому себе в том, что совершил он убийство вовсе не из-за нищеты и не ради помощи ближним, – если б так, он бы «счастлив был» (ибо легче было б оправдать себя), – он убил, чтобы доказать себе, что он «право имеет», то есть принадлежит к высшему разряду людей. (Он об этом догадывался и раньше, удивляясь, что даже не вспоминает о спрятанных под камнем деньгах и драгоценностях, но в полной мере осознает теперь, исповедуясь перед Соней и будучи вынужден это вслух *сказать*.) Человеческое естество не выдерживает убийства и последующих мук, – а Раскольников считает это слабостью, и потому решает, что, очевидно, он не принадлежит к высшему разряду. Именно проявленная им слабость – по крайней мере, на сознательном уровне – больше всего мучает Раскольникова. Но Соня, справившись с потрясением после раскольниковского признания, тут же указывает единственный для него выход – выйти на площадь, поцеловать землю, которую он осквернил, покаяться перед людьми и на каторге страданием очистить свою душу. Тогда она, Соня, готова пойти вместе с ним. Со стороны Сони это не только самопожертвование. Она действительно полюбила Раскольникова, сумев разглядеть его живую душу, его неподдельные

муки, его глубоко запрятанное и искаженное желание добра. Но у решения Сони есть еще один смысл.

Незадолго до смерти сестра процентщицы Лизавета поменялась крестами с Соней, то есть Соня стала ее крестной сестрой. Согласившись разделить с Раскольниковым его путь, она как бы доводит до конца дело безвинной жертвы – Лизаветы, – она ведет Раскольникова ко спасению. Но, получив таким образом прощение нечаянно убитой Лизаветы, Раскольников, как явствует из его второго сна, не получил прощения от старухи процентщицы, которую *хотел убить*. Для этого нужно подлинное покаяние, а от этого Раскольников пока еще весьма далек. Он отвергает предложение Сони, считая, что может еще «побороться».

Сама жизнь постоянно разрушает теорию Раскольникова, но зло, как пеленой, застилает ему глаза, и он не видит этого. Совершая преступление, как ему кажется, с благой целью помощи ближним, он после убийства постоянно хочет остаться «один, один, один!». Он убивает ради «вечной Сонечки», но реальная Соня категорически не признает его права на преступление⁴; мало того, Соня, узнав обо всем, вспоминает деньги, оставленные Раскольниковым ее семье, и с ужасом спрашивает: неужели и они из *тех* денег – и ужас этот естествен: ни один нормальный человек не согласится, даже в самой тяжелой ситуации, принять деньги, добытые кровью. Катерина Ивановна умирает (и смерть ее удивительно похожа на смерть забитой лошадки из сна Раскольникова) – и он ничем не может помочь ни ей, ни ее детям. Помощь к ним приходит совсем с неожиданной стороны.

Здесь необходимо сказать еще об одном из героев романа – помещике Аркадии Ивановиче Свидригайлове. Это «темный» двойник Раскольникова, он появляется тогда, когда зло максимально сгущается в Родионе. Но персонаж этот, как и большинство героев Достоевского, имеет несколько «измерений». Он умен, проницателен, обладает сильным характером, способен на благородные чувства и поступки. Но в то же время, как многие герои этого типа у Достоевского (Ставрогин из романа «Бесы», Иван Карамазов из романа «Братья Карамазовы»), не имея в душе и сознании ясного божественного ориентира, считает, что человек на земле сам себе хозяин (в этом он схож с Раскольниковым), должен руководствоваться лишь своими эмоциями и желаниями. Свидригайлов не может избежать общей для неординарных людей такого рода участи: жить, не имея никакой возвышенной цели, невыносимо скучно и тоскливо, обрести такую цель мешают цинизм, и остается лишь кажущееся избавление от тоски – чувственные похождения, разврат. Но разврат лишь десятикратно увеличивает тоску. Однако спасение эти люди обычно ищут не в себе, а в окружающем мире. Свидригайлов, в доме которого служила Дуня, сестра Раскольникова, влюбляется в нее и решает, что именно она спасет его жизнь от тоски и греха. При этом по привычке он не останавливается ни перед чем – есть подозрение, что именно он «ускорил» смерть своей жены в надежде на соединение с Дуней. Но Дуня отвергла притязания Свидригайлова, уволилась и вместе с матерью приехала в Петербург. Свидригайлов приехал за ней и завязал знакомство с Раскольниковым, в надежде через него добиться расположения Дуни. Однако Раскольников яростно отмежевывается от «дружбы» с Аркадием Ивановичем, считая себя безусловно выше этого «сладогострастника». Но тот не случайно говорит Раскольникову, что у них есть «точка общая»: как и Раскольников, он считает себя находящимся по ту сторону добра и зла, считает себя вправе «переступить» моральные законы. Но в отличие от Раскольникова, глубоко в душе помнящего о Божьем мире, откуда он вышел, Свидригайлов не видит ничего за пределами этой земной жизни. Вечность для него – лишь «банька с пауками». «Может быть, это и есть *справедливое...*» (курсив мой – К. С.) – многозначительно добавляет он. И это делает его положение действительно безысходным.

Неожиданно в руки Свидригайлова попадает весомый «козырь». Снимая комнату рядом с Соней, он сумел подслушать ее разговор с Раскольниковым и признание Родиона в убийстве.

⁴ Это отмечено петербургским литературоведом С. Беловым.

Он решает использовать это для завоевания Дуни и, заманив ее к себе, рассказывает ей все и предлагает свою помощь в спасении брата в обмен на ее благосклонность. Но Дуня отвергает сделку. Свидригайлов и хотел бы воспользоваться ее беспомощностью, но оставшееся в его душе благородство останавливает его; он только с отчаянием спрашивает Дуню: любит ли она его или сможет ли полюбить когда-нибудь? Получив отрицательный ответ, он отпускает ее. Проведя затем кошмарную ночь в дешевой гостинице, где ему припоминаются все его грехи (в том числе и погибшая по его воле – видимо, совращенная им – девочка; в жутком сне он видит, как и Раскольников, что торжествующее зло смеется над ним), он утром застрелился на одной из пустынных улиц Петербурга.

Между тем Порфирий Петрович неожиданно приходит на квартиру Раскольникова. Он убеждает Родиона, что теперь уже абсолютно точно знает, кто убийца, но арестовывать его не хочет, ибо советует ему явиться с повинной, заслужив таким образом «сбавку», то есть сокращение срока наказания. Перед уходом Порфирий, понимающий состояние Раскольникова, дает ему два важнейших совета. «Вам нужно воздуху», – говорит он, понимая, в какое затхлое одиночество загнал себя Раскольников. И второй, чрезвычайно важный для всех, мечтающих о славе и всеобщем признании: «Станьте солнцем, вас все и увидят» (то есть если станешь источником *света* для окружающих тебя, то все увидят и оценят тебя и так, без дополнительных усилий с твоей стороны).

Но Раскольникову еще далеко до «солнца»: он все еще не хочет «сдаваться». Проведя, как и Свидригайлов, страшную ночь в противоборстве с самим собой и тоже будучи близок к самоубийству, он утром в третий раз приходит к Соне. Та вновь говорит ему, что единственный выход – всенародное покаяние и явка с повинной. Благословляя его, она вешает ему на шею свой нательный крест, себе оставляя крест убитой Лизаветы. Раскольников выходит на площадь, кланяется народу и целует землю «с наслаждением и счастьем». Но так легко искупление и воссоединение с миром не даются. Кто-то смеется над ним, приняв за пьяного, а кто-то, может быть в шутку, говорит: «Это он в Иерусалим идет, братцы, с детьми, с родиной прощается...» – и оказывается, в сущности, прав, ибо, как сказано в Евангелии, Новый Иерусалим – это Небесный Град, где преобразившиеся люди будут вместе со Христом.

Идя в полицию признаваться, Родион подает милостыню нищенке, тем самым частично восстанавливая разорванные им связи с миром, и слышит от нее: «Сохрани тебя Бог!» Дойдя до полицейского участка и уже было войдя внутрь, Раскольников хочет вернуться назад, но, увидев ждущую его Соню, возвращается; услышав о самоубийстве «жизнелюба» Свидригайлова, он понимает, что подобный исход, если оставить все «как есть», ждет и его. И он признается в совершенных им двух убийствах.

После суда Раскольникова отсылают на каторгу, мать его, не выдержав такой трагедии, вскоре умирает, а Дуня выходит замуж за Разумихина. Умирает и Катерина Ивановна, но маленькие дети ее оказываются обеспечены благодаря Свидригайлову, который перед смертью завещал им большую сумму денег (оправдалась надежда Сони на то, что Бог не допустит для маленькой Поли той же участи, что и для нее). Соня же, обещавшая не оставлять Раскольникова, едет вслед за ним на каторгу и поселяется неподалеку от острога.

На каторге Раскольникову приходится очень тяжело. Ко всем тяготам каторжной жизни добавляется еще и то, что каторжники очень враждебно настроены к нему – и не только потому, что он из «образованных», «чужой», но и потому, что чувствуют его гордость и высокомерное презрение к людям. Раскольников же по-прежнему уверен, что его «теория» была верна, просто он сам не выдержал испытания. И это наполняет его отчаянием и тоской. И вот однажды перед Пасхой он видит сон. Будто бы все человечество заражено некими бациллами – трихинами, и в результате этого заражения каждый исполняется уверенности в том, что именно он знает истину. Все начинают воевать друг с другом за торжество своей правды. Люди в злобе и беспамятстве уничтожают друг друга, земля залита кровью, только несколько человек помнят

еще, как спастись, но где они, никто не знает (тут опять проявилась не оставляющая Раскольникова мысль об «избранных»⁵). В ужасе Раскольников просыпается и понимает, что так могло бы быть в действительности, если бы *все* стали думать и поступать, как он.

Отсюда начинается медленное обновление души Раскольникова. В его сердце впервые возникает чувство подлинной любви к *другому* Божиему созданию – Соне. Он по-прежнему еще не открывает Евангелие, подаренное ему Соней, но через любовь к Соне начинает понимать, что ее чувства и верования могут стать и его верой. И вот однажды на берегу реки Раскольников окончательно осознает свою любовь к Соне и опускается на колени перед ней. Так начинается история возрождения Раскольникова и заканчивается очередная попытка гордого ума перестроить мир «по справедливости», в соответствии с собственным разумением. Заканчивается, по милосердию Божию, оставляя надежду Раскольникову; но вину за три смерти – Алены Ивановны, кроткой Лизаветы и собственной матери – с него никто не снимет. А исход мог быть гораздо ужасней: если бы не участие кроткой Сони, Раскольников окончательно отгородился бы от людей в злобе и отчаянии, погиб бы сам и почти наверняка погубил бы еще не одно живое существо.

Достоевский писал свой роман в XIX веке, когда понятия добра и зла были еще достаточно ясны и прочны в русском обществе и сознательно или подсознательно разделялись почти всеми. Но уже тогда начинали появляться идеи о необходимости насильственным образом (цареубийством, терактами, революциями) «перестроить» мир «по справедливости». Эти идеи захватывали сознание молодых людей, которые, утратив веру в Бога (в то время первые успехи только начинавшей развиваться науки создавали впечатление, что она «отменяет» Бога⁶), решали, что избавить мир от страданий можно лишь таким способом. Многие из них были действительно великодушны, честны и бескорыстны (как и Раскольников: вспомним, ведь он не заботится ни об одежде, ни о еде для себя, отдает последние деньги Мармеладовым и городовому для спасения пьяной девочки; из Эпилога мы узнаем, что он долгое время помогал больному товарищу и его отцу, спас детей из огня). Но благородные идеи причудливым образом сплетались в них с утверждавшимися тогда же теориями «сильной личности», «сверхчеловека», призванного направлять движение истории. И вот эти искренне желавшие добра людям юноши и девушки убивали, поджигали, устраивали взрывы (во время которых гибли и случайные прохожие, и дети). Цель не достигалась, но им казалось, что если устроить более масштабное кровопролитие, то все получится. Открывалась страшная возможность – проливать «кровь по совести», то есть убивать, осознавая себя не преступником, а героем, действующим во имя добра. Предупреждения Достоевского были услышаны и поняты только в XX веке (но и тогда далеко не всеми). Доходило даже до того, что многие, даже весьма неглупые люди говорили: Достоевский устарел, сейчас мало кто стал бы испытывать после убийства такие муки, как Раскольников. В наши дни, когда о жертвах киллеров мы едва ли не ежедневно узнаем из теленовостей вперемежку с сообщениями об эстрадных «звездах» и прогнозами погоды, можно в принципе сказать то же самое. Это одна крайность в непонимании Достоевского. А с другой стороны, многие могут и возразить: а мне зачем про это знать, я-то не собираюсь никого убивать! Но Достоевский гораздо шире: достаточно подумать о своих правах, о своей выгоде путем унижения других, о своем преимущественном праве по сравнению с другими, вообще пустить любой злой умысел в свое сердце – и трудно даже представить, к каким чудовищным результатам это может привести (ведь не думал Раскольников, сочиняя свою статью, о залитом кровью лице кроткой Лизаветы).

⁵ Наблюдение петербургского литературоведа Б. Тихомирова.

⁶ Научные открытия нашего времени, которые постепенно подтверждают все, изложенное в Библии, – и одномоментность возникновения мира («большой взрыв»), и наличие у всего человечества одной общей пары родителей (Адам и Ева), и ограниченность материального мира (за некоторыми пределами материи уже нет), – были еще впереди.

Можно сказать так: для того чтобы понять все, что понял Раскольников, ему и надо было совершить преступление, «перетащить на себе» этот «опыт pro и contra».

Но для того и существуют великие книги, чтобы самому не проходить через подобный ужас.

Тем не менее прожить жизнь без испытаний не дано никому: никто из нас не застрахован от страшных трихин из сна Раскольникова. Но будем помнить, что есть такой писатель – Достоевский, чье творчество дает силы сопротивляться злу и всегда оставляет надежду на возрождение.

Карен Степанян

Часть первая



I

В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей каморки, которую нанимал от жильцов в С – м переулке, на улицу и медленно, как бы в нерешимости, отправился к К – ну мосту.

Он благополучно избегнул встречи с своею хозяйкой на лестнице. Каморка его приходилась под самую кровлей высокого пятиэтажного дома и походила более на шкаф, чем на квартиру. Квартирная же хозяйка его, у которой он нанимал эту каморку с обедом и прислугой, помещалась одною лестницей ниже, в отдельной квартире, и каждый раз, при выходе на улицу, ему непременно надо было проходить мимо хозяйкиной кухни, почти всегда настежь отворенной на лестницу. И каждый раз молодой человек, проходя мимо, чувствовал какое-то болезненное и трусливое ощущение, которого стыдился и от которого морщился. Он был должен кругом хозяйке и боялся с нею встретиться.

Не то чтоб он был так труслив и забит, совсем даже напротив; но с некоторого времени он был в раздражительном и напряженном состоянии, похожем на ипохондрию. Он до того углубился в себя и уединился от всех, что боялся даже всякой встречи, не только встречи с хозяйкой. Он был задавлен бедностью; но даже стесненное положение перестало в последнее время тяготить его. Насущными делами своими он совсем перестал и не хотел заниматься. Никакой хозяйки, в сущности, он не боялся, что бы та ни замышляла против него. Но останавливаться на лестнице, слушать всякий вздор про всю эту обыденную дребедень, до которой ему нет никакого дела, все эти пристаивания о платеже, угрозы, жалобы, и при этом самому изворачиваться, извиняться, лгать, – нет уж, лучше проскользнуть как-нибудь кошкой по лестнице и улизнуть, чтобы никто не видал.

Впрочем, на этот раз страх встречи с своею кредиторшей даже его самого поразил по выходе на улицу.

«На какое дело хочу покуситься и в то же время каких пустяков боюсь! – подумал он с странною улыбкой. – Гм... да... все в руках человека, и все-то он мимо носу пронесет, единственно от одной трусости... это уж аксиома... Любопытно, чего люди больше всего боятся? Нового шага, нового собственного слова они всего больше боятся... А впрочем, я слишком много болтаю. Оттого и ничего не делаю, что болтаю. Пожалуй, впрочем, и так: оттого болтаю, что ничего не делаю. Это я в этот последний месяц выучился болтать, лежа по целым суткам в углу и думая... о царе Горохе. Ну зачем я теперь иду? Разве я способен на *это*? Разве *это* серьезно? Совсем не серьезно. Так, ради фантазии сам себя тешу; игрушки! Да, пожалуй что и игрушки!»

На улице жара стояла страшная, к тому же духота, толкотня, всюду известка, леса, кирпич, пыль и та особенная летняя вонь, столь известная каждому петербуржцу, не имеющему возможности нанять дачу, – все это разом неприятно потрясло и без того уже расстроенные нервы юноши. Нестерпимая же вонь из распивочных, которых в этой части города особенное множество, и пьяные, поминутно попадавшие, несмотря на буднее время, довершили отвратительный и грустный колорит картины. Чувство глубочайшего омерзения мелькнуло на миг в тонких чертах молодого человека. Кстати, он был замечательно хорош собою, с прекрасными темными глазами, темно-рус, ростом выше среднего, тонок и строен. Но скоро он впал как бы в глубокую задумчивость, даже, вернее сказать, как бы в какое-то забытие, и пошел, уже не замечая окружающего, да и не желая его замечать. Изредка только бормотал он что-то про себя, от своей привычки к монологам, в которой он сейчас сам себе признался. В эту же минуту он и сам сознавал, что мысли его порою мешаются и что он очень слаб: второй день как уж он почти совсем ничего не ел.

Он был до того худо одет, что иной, даже и привычный человек, посовестился бы днем выходить в таких лохмотьях на улицу. Впрочем, квартал был таков, что костюмом здесь было трудно кого-нибудь удивить. Близость Сенной, обилие известных заведений и, по преимуществу, цеховое и ремесленное население, скученное в этих срединных петербургских улицах и переулках, пестрили иногда общую панораму такими субъектами, что странно было бы и удивляться при встрече с иною фигурой. Но столько злобного презрения уже накопилось в душе молодого человека, что, несмотря на всю свою, иногда очень молодую, щекотливость, он менее всего совестился своих лохмотьев на улице. Другое дело при встрече с иными знакомыми или с прежними товарищами, с которыми вообще он не любил встречаться... А между тем, когда один пьяный, которого неизвестно почему и куда провозили в это время по улице в огромной телеге, запряженной огромною ломовою лошадыю, крикнул ему вдруг, проезжая: «Эй ты, немецкий шляпник!» – и заорал во все горло, указывая на него рукой, – молодой человек вдруг остановился и судорожно схватился за свою шляпу. Шляпа эта была высокая, круглая, циммермановская, но вся уже изношенная, совсем рыжая, вся в дырах и пятнах, без полей и самым безобразнейшим углом заломившаяся на сторону. Но не стыд, а совсем другое чувство, похожее даже на испуг, охватило его.

«Я так и знал! – бормотал он в смущении, – я так и думал! Это уж всего сквернее! Вот эдакая какая-нибудь глупость, какая-нибудь пошлейшая мелочь, весь замысел может испортить! Да, слишком приметная шляпа... Смешная, потому и приметная... К моим лохмотьям непременно нужна фуражка, хотя бы старый блин какой-нибудь, а не этот урод. Никто таких не носит, за версту заметят, запомнят... главное, потом запомнят, ан и улика. Тут нужно быть как можно неприметнее... Мелочи, мелочи главное!.. Вот эти-то мелочи и губят всегда и все...»

Идти ему было немного; он даже знал, сколько шагов от ворот его дома: ровно семьсот тридцать. Как-то раз он их сосчитал, когда уж очень размечтался. В то время он и сам еще не верил этим мечтам своим и только раздражал себя их безобразною, но соблазнительною дерзостью. Теперь же, месяц спустя, он уже начинал смотреть иначе и, несмотря на все поддразнивающие монологи о собственном бессилии и нерешимости, «безобразную» мечту как-то даже поневоле привык считать уже предприятием, хотя все еще сам себе не верил. Он даже шел теперь делать *пробу* своему предприятию, и с каждым шагом волнение его возрастало все сильнее и сильнее.

С замиранием сердца и нервной дрожью подошел он к преогромнейшему дому, выходящему одною стеной на канаву, а другою в – ю улицу. Этот дом стоял весь в мелких квартирах и заселен был всякими промышленниками – портными, слесарями, кухарками, разными немцами, девицами, живущими от себя, мелким чиновничеством и проч. Входящие и выходящие так и шмыгали под обоими воротами и на обоих дворах дома. Тут служили три или четыре дворника. Молодой человек был очень доволен, не встретив ни которого из них, и неприметно проскользнул сейчас же из ворот направо на лестницу. Лестница была темная и узкая, «черная», но он все уже это знал и изучил, и ему вся эта обстановка нравилась: в такой темноте даже и любопытный взгляд был неопасен. «Если о сю пору я так боюсь, что же было бы, если б и действительно как-нибудь случилось до самого *дела* дойти?..» – подумал он невольно, проходя в четвертый этаж. Здесь загородили ему дорогу отставные солдаты-носильщики, выносившие из одной квартиры мебель. Он уже прежде знал, что в этой квартире жил один семейный немец, чиновник: «Стало быть, этот немец теперь выезжает, и, стало быть, в четвертом этаже, по этой лестнице и на этой площадке, остается, на некоторое время, только одна старухина квартира занятая. Это хорошо... на всякой случай...» – подумал он опять и позвонил в старухину квартиру. Звонокбрякнул слабо, как будто был сделан из жести, а не из меди. В подобных мелких квартирах таких домов почти все такие звонки. Он уже забыл звон этого колокольчика, и теперь этот особенный звон как будто вдруг ему что-то напомнил и ясно представил... Он так и вздрогнул, слишком уж ослабели нервы на этот раз. Немного спустя дверь приотворилась

на крошечную щелочку: жилища оглядывала из щели пришедшего с видимым недоверием, и только виднелись ее сверкавшие из темноты глазки. Но увидав на площадке много народу, она ободрилась и отворила совсем. Молодой человек переступил через порог в темную прихожую, разгороженную перегородкой, за которою была крошечная кухня. Старуха стояла перед ним молча и вопросительно на него глядела. Это была крошечная, сухая старушонка, лет шестидесяти, с острыми и злыми глазками, с маленьким острым носом и простоволосая. Белобрысые, мало поседевшие волосы ее были жирно смазаны маслом. На ее тонкой и длинной шее, похожей на куриную ногу, было наверхено какое-то фланелевое тряпье, а на плечах, несмотря на жару, болталась вся истрепанная и пожелтелая меховая кацавейка. Старушонка поминутно кашляла и кряхтела. Должно быть, молодой человек взглянул на нее каким-нибудь особенным взглядом, потому что и в ее глазах мелькнула вдруг опять прежняя недоверчивость.

– Раскольников, студент, был у вас назад тому месяц, – поспешил пробормотать молодой человек с полупоклоном, вспомнив, что надо быть любезнее.

– Помню, батюшка, очень хорошо помню, что вы были, – отчетливо проговорила старушка, по-прежнему не отводя своих вопрошающих глаз от его лица.

– Так вот-с... и опять, по такому же дельцу... – продолжал Раскольников, немного смутившись и удивляясь недоверчивости старухи.

«Может, впрочем, она и всегда такая, да я в тот раз не заметил», – подумал он с неприятным чувством.

Старуха помолчала, как бы в раздумье, потом отступила в сторону и, указывая на дверь в комнату, произнесла, пропуская гостя вперед:

– Пройдите, батюшка.

Небольшая комната, в которую прошел молодой человек, с желтыми обоями, геранями и кисейными занавесками на окнах, была в эту минуту ярко освещена заходящим солнцем. «И тогда, стало быть, так же будет солнце светить!..» – как бы невзначай мелькнуло в уме Раскольникова, и быстрым взглядом окинул он все в комнате, чтобы по возможности изучить и запомнить расположение. Но в комнате не было ничего особенного. Мебель, вся очень старая и из желтого дерева, состояла из дивана с огромною выгнутою деревянною спинкой, круглого стола овальной формы перед диваном, туалета с зеркальцем в простенке, стульев по стенам да двух-трех грошовых картинок в желтых рамках, изображавших немецких барышень с птицами в руках, – вот и вся мебель. В углу перед небольшим образом горела лампада. Все было очень чисто: и мебель, и полы были оттерты под лоск; все блестело. «Лизаветина работа», – подумал молодой человек. Ни пылинки нельзя было найти во всей квартире. (Это у злых и старых вдовиц бывает такая чистота», – продолжал про себя Раскольников и с любопытством покосился на ситцевую занавеску перед дверью во вторую, крошечную комнатку, где стояли старухины постель и комод и куда он еще ни разу не заглядывал. Вся квартира состояла из этих двух комнат.

– Что угодно? – строго произнесла старушонка, войдя в комнату и по-прежнему становясь прямо перед ним, чтобы глядеть ему прямо в лицо.

– Заклад принес, вот-с! – И он вынул из кармана старые плоские серебряные часы. На оборотной дощечке их был изображен глобус. Цепочка была стальная.

– Да ведь и прежнему закладу срок. Еще третьего дня месяц как минул.

– Я вам проценты еще за месяц внесу; потерпите.

– А в том моя добрая воля, батюшка, терпеть или вещь вашу теперь же продать.

– Много ль за часы-то, Алена Ивановна?

– А с пустяками ходишь, батюшка, ничего, почитай, не стоит. За колечко вам прошлый раз два билетика внесла, а оно и купить-то его новое у ювелира за полтора рубля можно.

– Рубля-то четыре дайте, я выкуплю, отцовские. Я скоро деньги получу.

– Полтора рубля-с и процент вперед, коли хотите-с.

– Полтора рубля! – вскрикнул молодой человек.

– Ваша воля. – И старуха протянула ему обратно часы. Молодой человек взял их и до того рассердился, что хотел было уже уйти; но тотчас одумался, вспомнив, что идти больше некуда и что он еще и за другим пришел.

– Давайте! – сказал он грубо.

Старуха полезла в карман за ключами и пошла в другую комнату за занавески. Молодой человек, оставшись один среди комнаты, любопытно прислушивался и соображал. Слышно было, как она отперла комод. «Должно быть, верхний ящик, – соображал он. – Ключи она, стало быть, в правом кармане носит... Все на одной связке, в стальном кольце... И там один ключ есть всех больше, втрое, с зубчатую бородкой, конечно, не от комода... Стало быть, есть еще какая-нибудь шкатулка али укладка... Вот это любопытно. У укладок все такие ключи... А впрочем, как это подло все...»

Старуха воротилась.

– Вот-с, батюшка: коли по гривне в месяц с рубля, так за полтора рубля причтется с вас пятнадцать копеек, за месяц вперед-с. Да за два прежних рубля с вас еще причтается по сему же счету вперед двадцать копеек. А всего, стало быть, тридцать пять. Приходится же вам теперь всего получить за часы ваши рубль пятнадцать копеек. Вот получите-с.

– Как! так уж теперь рубль пятнадцать копеек!

– Точно так-с.

Молодой человек спорить не стал и взял деньги. Он смотрел на старуху и не спешил уходить, точно ему еще хотелось что-то сказать или сделать, но как будто он и сам не знал, что именно...



– Я вам, Алена Ивановна, может быть, на днях, еще одну вещь принесу... серебряную... хорошую... папиросочницу одну... вот как от приятеля ворочу... – Он смутился и замолчал.

– Ну тогда и будем говорить, батюшка.

– Прощайте-с... А вы все дома одни сидите, сестрицы-то нет? – спросил он как можно развязнее, выходя в переднюю.

– А вам какое до нее, батюшка, дело?

– Да ничего особенного. Я так спросил. Уж вы сейчас... Прощайте, Алена Ивановна!

Раскольников вышел в решительном смущении. Смущение это все более и более увеличивалось. Сходя по лестнице, он несколько раз даже останавливался, как будто чем-то внезапно пораженный. И наконец, уже на улице, он воскликнул: «О Боже! как это все отвратительно! И неужели, неужели я... нет, это вздор, это нелепость! – прибавил он решительно. – И неужели такой ужас мог прийти мне в голову? На какую грязь способно, однако, мое сердце! Главное: грязно, пакостно, гадко, гадко!.. И я, целый месяц...»

Но он не мог выразить ни словами, ни восклицаниями своего волнения. Чувство бесконечного отвращения, начинавшее давить и мутить его сердце еще в то время, как он только шел к старухе, достигло теперь такого размера и так ярко выяснилось, что он не знал, куда деться от тоски своей. Он шел по тротуару как пьяный, не замечая прохожих и сталкиваясь с ними, и опомнился уже в следующей улице. Оглядевшись, он заметил, что стоит подле распивочной, в которую вход был с тротуара по лестнице вниз, в подвальный этаж. Из дверей, как раз в эту минуту, выходили двое пьяных и, друг друга поддерживая и ругая, взбирались на улицу. Долго не думая, Раскольников тотчас же спустился вниз. Никогда до сих пор не входил он в распивочные, но теперь голова его кружилась, и к тому же палящая жажда томила его. Ему захотелось выпить холодного пива, тем более что внезапную слабость свою он относил и к тому, что был голоден. Он уселся в темном и грязном углу, за липким столиком, спросил пива и с жадностью выпил первый стакан. Тотчас же все отлегло, и мысли его прояснели. «Все это вздор, – сказал он с надеждой, – и нечем тут было смущаться! Просто физическое расстройство! Один какой-нибудь стакан пива, кусок сухаря, – и вот, в один миг, крепнет ум, яснее мысль, твердеют намерения! Тьфу, какое все это ничтожество!..» Но, несмотря на этот презрительный плевок, он глядел уже весело, как будто внезапно освобождаясь от какого-то ужасного бремени, и дружелюбно окинул глазами присутствующих. Но даже и в эту минуту он отдаленно предчувствовал, что вся эта восприимчивость к лучшему была тоже болезненная.

В распивочной на ту пору оставалось мало народу. Кроме тех двух пьяных, что попались на лестнице, вслед за ними же вышла еще разом целая ватага, человек в пять, с одной девкой и с гармонией. После них стало тихо и просторно. Остались: один хмельной, но немного, сидевший за пивом, с виду мещанин; товарищ его, толстый, огромный, в сибирке и с седою бородой, очень захмелевший, задремавший на лавке и изредка, вдруг, как бы спросонья, начинавший прищелкивать пальцами, расставив руки врозь, и подпрыгивать верхнею частию корпуса, не вставая с лавки, причем подпевал какую-то ерунду, силясь припомнить стихи, вроде:

Целый год жену ласкал,
Цел-лый год же-ну лас-кал...

Или вдруг, проснувшись, опять:

По Подьяческой пошел,
Свою прежнюю нашел...

Но никто не разделял его счастья; молчаливый товарищ его смотрел на все эти взрывы даже враждебно и с недоверчивостью. Был тут и еще один человек, с виду похожий как бы на отставного чиновника. Он сидел особо, перед своею посудинкой, изредка отпивая и посматривая кругом. Он был тоже как будто в некотором волнении.

II

Раскольников не привык к толпе и, как уже сказано, бежал всякого общества, особенно в последнее время. Но теперь его вдруг что-то потянуло к людям. Что-то совершалось в нем как бы новое, и вместе с тем ощутилась какая-то жажда людей. Он так устал от целого месяца этой сосредоточенной тоски своей и мрачного возбуждения, что хотя одну минуту хотелось ему вздохнуть в другом мире, хоть бы в каком бы то ни было, и, несмотря на всю грязь обстановки, он с удовольствием оставался теперь в распивочной.

Хозяин заведения был в другой комнате, но часто входил в главную, спускаясь в нее откуда-то по ступенькам, причем прежде всего выказывались его щегольские смазные сапоги с большими красными отворотами. Он был в поддевке и в страшно засаленном черном атласном жилете, без галстука, а все лицо его было как будто смазано маслом, точно железный замок. За застойкой находился мальчишка лет четырнадцати, и был другой мальчишка моложе, который подавал, если что спрашивали. Стояли крошеные огурцы, черные сухари и резанная кусочками рыба; все это очень дурно пахло. Было душно, так что было даже нестерпимо сидеть, и все до того было пропитано винным запахом, что, кажется, от одного этого воздуха можно было в пять минут сделаться пьяным.



Бывают иные встречи, совершенно даже с незнакомыми нам людьми, которыми мы начинаем интересоваться с первого взгляда, как-то вдруг, внезапно, прежде чем скажем слово. Такое точно впечатление произвел на Раскольникова тот гость, который сидел поодаль и походил на отставного чиновника. Молодой человек несколько раз припоминал потом это первое

впечатление и даже приписывал его предчувствию. Он беспрерывно взглядывал на чиновника, конечно, и потому еще, что и сам тот упорно смотрел на него, и видно было, что тому очень хотелось начать разговор. На остальных же, бывших в распивочной, не исключая и хозяина, чиновник смотрел как-то привычно и даже со скукой, а вместе с тем и с оттенком некоторого высокомерного пренебрежения, как бы на людей низшего положения и развития, с которыми нечего ему говорить. Это был человек лет уже за пятьдесят, среднего роста и плотного сложения, с проседью и с большою лысиной, с отеком от постоянного пьянства желтым, даже зеленоватым лицом и с припухшими веками, из-за которых сияли крошечные, как щелочки, но одушевленные красноватые глазки. Но что-то было в нем очень странное; во взгляде его светилась как будто даже восторженность, – пожалуй, был и смысл и ум, – но в то же время мелькало как будто и безумие. Одет он был в старый, совершенно оборванный черный фрак, с осыпавшимися пуговицами. Одна только еще держалась кое-как, и на нее-то он и застегивался, видимо желая не удаляться приличий. Из-под нанкового жилета торчала манишка, вся скомканная, запачканная и залитая. Лицо было выбрито по-чиновничьи, но давно уже, так что уже густо начала выступать сизая щетина. Да и в ухватках его действительно было что-то солидно-чиновничье. Но он был в беспокойстве, ерошил волосы и подпирал иногда, в тоске, обеими руками голову, положе продранные локти на залитый и липкий стол. Наконец он прямо посмотрел на Раскольников и громко и твердо проговорил:

– А осмелюсь ли, милостивый государь мой, обратиться к вам с разговором приличным? Ибо хотя вы и не в значительном виде, но опытность моя отличает в вас человека образованного и к напитку непривычного. Сам всегда уважал образованность, соединенную с сердечными чувствами, и, кроме того, состою титулярным советником. Мармеладов – такая фамилия; титулярный советник. Осмелюсь узнать, служить изволили?

– Нет, учусь... – отвечал молодой человек, отчасти удивленный и особенным витиеватым тоном речи, и тем, что так прямо, в упор, обратились к нему. Несмотря на недавнее мгновенное желание хотя какого бы ни было сообщества с людьми, он при первом, действительно обращенном к нему слове вдруг ощутил свое обычное неприятное и раздражительное чувство отвращения ко всякому чужому лицу, касавшемуся или хотевшему только прикоснуться к его личности.

– Студент, стало быть, или бывший студент! – вскричал чиновник, – так я и думал! Опыт, милостивый государь, неоднократный опыт! – и в знак похвальбы он приложил палец ко лбу. – Были студентом или происходили ученую часть! А позвольте... – Он привстал, покачнулся, захватил свою посудинку, стаканчик, и подсел к молодому человеку, несколько от него наискось. Он был хмелен, но говорил речисто и бойко, изредка только местами сбиваясь немного и затягивая речь. С какою-то даже жадностью накинута он на Раскольника, точно целый месяц тоже ни с кем не говорил.

– Милостивый государь, – начал он почти с торжественностью, – бедность не порок, это истина. Знаю я, что и пьянство не добродетель, и это тем паче. Но нищета, милостивый государь, нищета – порок-с. В бедности вы еще сохраняете свое благородство врожденных чувств, в нищете же никогда и никто. За нищету даже и не палкой выгоняют, а метлой выметают из компании человеческой, чтобы тем оскорбительнее было; и справедливо, ибо в нищете я первый сам готов оскорблять себя. И отсюда питейное! Милостивый государь, месяц назад тому супругу мою избил господин Лебезятников, а супруга моя не то что я! Понимаете-с? Позвольте еще вас спросить, так, хотя бы в виде простого любопытства: изволили вы ночевать на Неве, на сенных барках?

– Нет, не случилось, – отвечал Раскольников. – Это что такое?

– Ну-с, а я оттуда, и уже пятую ночь-с...

Он налил стаканчик, выпил и задумался. Действительно, на его платье и даже в волосах кое-где виднелись прилипшие былинки сена. Очень вероятно было, что он пять дней не раздевался и не умывался. Особенно руки были грязны, жирные, красные, с черными ногтями.

Его разговор, казалось, возбудил общее, хотя и ленивое внимание. Мальчишки за стойкой стали хихикать. Хозяин, кажется, нарочно сошел из верхней комнаты, чтобы послушать «забавника», и сел поодаль, лениво, но важно позевывая. Очевидно, Мармеладов был здесь давно известен. Да и склонность к витиеватой речи приобрел, вероятно, вследствие привычки к частым кабачным разговорам с различными незнакомцами. Эта привычка обращается у иных пьющих в потребность, и преимущественно у тех из них, с которыми дома обходятся строго и которыми помыкают. Оттого-то в пьющей компании они и стараются всегда как будто выхлопотать себе оправдание, а если можно, то даже и уважение.

– Забавник! – громко проговорил хозяин. – А для ча не работаешь, для ча не служите, коли чиновник?

– Для чего я не служу, милостивый государь, – подхватил Мармеладов, исключительно обращаясь к Раскольникову, как будто это он ему задал вопрос, – для чего не служу? А разве сердце у меня не болит о том, что я пресмыкаюсь втуне? Когда господин Лебезятников, тому месяц назад, супругу мою собственноручно избил, а я лежал пьяненькой, разве я не страдал? Позвольте, молодой человек, случилось вам... гм... ну хоть испрашивать денег займы безнадежно?

– Случалось... то есть как безнадежно?

– То есть безнадежно вполне-с, заранее зная, что из сего ничего не выйдет. Вот вы знаете, например, заранее и досконально, что сей человек, сей благонамереннейший и наиболее полезный гражданин, ни за что вам денег не даст, ибо зачем, спрошу я, он даст? Ведь он знает же, что я не отдам. Из сострадания? Но господин Лебезятников, следящий за новыми мыслями, объяснял наперед, что сострадание в наше время даже наукой воспрещено и что так уже делается в Англии, где политическая экономия. Зачем же, спрошу я, он даст? И вот, зная вперед, что не даст, вы все-таки отправляетесь в путь и...

– Для чего же ходить? – прибавил Раскольников.

– А коли не к кому, коли идти больше некуда! Ведь надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти. Ибо бывает такое время, когда непременно надо хоть куда-нибудь да пойти! Когда единородная дочь моя в первый раз по желтому билету пошла, и я тоже тогда пошел... (ибо дочь моя по желтому билету живет-с...) – прибавил он в скобках, с некоторым беспокойством смотря на молодого человека. – Ничего, милостивый государь, ничего! – поспешил он тотчас же, и по-видимому спокойно, заявить, когда фыркнули оба мальчишки за стойкой и улыбнулся сам хозяин. – Ничего-с! Сим покиванием глав не смущаюсь, ибо уже всем все известно и все тайное становится явным; и не с презрением, а со смирением к сему отношусь. Пусть! пусть! «Се человек!» Позвольте, молодой человек: можете ли вы... Но нет, изъяснить сильнее и изобразительнее: не *можете* ли вы, а *осмелитесь* ли вы, взирая в сей час на меня, сказать утвердительно, что я не свинья?

Молодой человек не отвечал ни слова.

– Ну-с, – продолжал оратор, солидно и даже с усиленным на этот раз достоинством переждав опять последовавшее в комнате хихикание. – Ну-с, я пусть свинья, а она дама! Я звериный образ имею, а Катерина Ивановна, супруга моя, – особа образованная и урожденная штаб-офицерская дочь. Пусть, пусть я подлец, она же и сердца высокого, и чувств, облагороженных воспитанием, исполнена. А между тем... о, если б она пожалела меня! Милостивый государь, милостивый государь, ведь надобно же, чтоб у всякого человека было хоть одно такое место, где бы и его пожалели! А Катерина Ивановна дама хотя и великодушная, но несправедливая... И хотя я и сам понимаю, что когда она и вихры мои дерет, то дерет их не иначе как от жалости сердца (ибо, повторяю без смущения, она дерет мне вихры, молодой человек, – подтвердил он

с сугубым достоинством, услышав опять хихиканье), но, Боже, что если б она хотя один раз... Но нет! нет! все сие втуне, и нечего говорить! нечего говорить!.. ибо и не один раз уже бывало желаемое, и не один раз жалели меня, но... такова уже черта моя, а я природный скот!

– Еще бы! – заметил, зевая, хозяин.

Мармеладов решительно стукнул кулаком по столу.

– Такова уж черта моя! Знаете ли, знаете ли вы, государь мой, что я даже чулки ее пропил? Не башмаки-с, ибо это хотя сколько-нибудь походило бы на порядок вещей, а чулки, чулки ее пропил-с! Косыночку ее из козьего пуха тоже пропил, дареную, прежнюю, ее собственную, не мою; а живем мы в холодном угле, и она в эту зиму простудилась и кашлять пошла, уже кровью. Детей же маленьких у нас трое, и Катерина Ивановна в работе с утра до ночи, скребет и моет и детей обмывает, ибо к чистоте с измалетства привыкла, а с грудью слабою и к чахотке склонною, и я это чувствую. Разве я не чувствую? И чем более пью, тем более и чувствую. Для того и пью, что в питии сем сострадания и чувства ищу. Не веселья, а единой скорби ищу... Пью, ибо сугубо страдать хочу! – И он, как бы в отчаянии, склонил на стол голову.

– Молодой человек, – продолжал он, восклоняясь опять, – в лице вашем я читаю как бы некую скорбь. Как вошли, я прочел ее, а потому тотчас же и обратился к вам. Ибо, сообщая вам историю жизни моей, не на позорище себя выставить хочу перед сими празднующими, которым и без того все известно, а чувствительного и образованного человека ищу. Знайте же, что супруга моя в благородном губернском дворянском институте воспитывалась и при выпуске с шалью танцевала при губернаторе и при прочих лицах, за что золотую медаль и похвальный лист получила. Медаль... ну медаль-то продали... уж давно... гм... похвальный лист до сих пор у ней в сундуке лежит, и еще недавно его хозяйке показывала. И хотя с хозяйкой у ней наибесперывнейшие раздоры, но хоть перед кем-нибудь погордиться захотелось и сообщить о счастливых минувших днях. И я не осуждаю, не осуждаю, ибо сие последнее у ней и осталось в воспоминаниях ее, а прочее все пошло прахом! Да, да; дама горячая, гордая и непреклонная. Пол сама моет и на черном хлебе сидит, а неуважения к себе не допустит. Оттого и господину Лебезятникову грубость его не захотела спустить, и когда прибил ее за то господин Лебезятников, то не столько от побоев, сколько от чувства в постель слегла. Вдовой уже взял ее, с троими детьми, мал мала меньше. Вышла замуж за первого мужа, за офицера пехотного, по любви, и с ним бежала из дому родительского. Мужа любила чрезмерно, но в картишки пустился, под суд попал, с тем и помер. Бивал он ее под конец; а она хоть и не спускала ему, о чем мне доподлинно и по документам известно, но до сих пор вспоминает его со слезами и меня им корит, и я рад, я рад, ибо хотя в воображениях своих зрит себя когда-то счастливой... И осталась она после него с тремя малолетними детьми в уезде далеком и зверском, где и я тогда находился, и осталась в такой нищете безнадежной, что я хотя и много видал приключений различных, но даже и описать не в состоянии. Родные же все отказались. Да и горда была, чересчур горда... И тогда-то, милостивый государь, тогда я, тоже вдовец, и от первой жены четырнадцатилетнюю дочь имея, руку свою предложил, ибо не мог смотреть на такое страдание. Можете судить потому, до какой степени ее бедствия доходили, что она, образованная и воспитанная и фамилии известной, за меня согласилась пойти! Но пошла! Плача и рыдая, и руки ломая – пошла! Ибо некуда было идти. Понимаете ли, понимаете ли вы, милостивый государь, что значит, когда уже некуда больше идти? Нет! Этого вы еще не понимаете... И целый год я обязанность свою исполнял благочестиво и свято и не касался сего (он ткнул пальцем на полуштоф), ибо чувство имею. Но и сим не мог угодить; а тут места лишился, и тоже не по вине, а по изменению в штатах, и тогда прикоснулся!.. Полтора года уже будет назад, как очутились мы наконец, после странствий и многочисленных бедствий, в сей великолепной и украшенной многочисленными памятниками столице. И здесь я место достал... Достал и опять потерял. Понимаете-с? Тут уже по собственной вине потерял, ибо черта моя наступила... Проживаем же теперь в угле, у хозяйки Амалии Федоровны Липпехель, а чем живем и чем платим, не ведаю. Живут же

там многие и кроме нас... Содом-с, безобразнейший... гм... да... А тем временем возросла и дочка моя, от первого брака, и что только вытерпела она, дочка моя, от мачехи своей, возрастая, о том я умалчиваю. Ибо хотя Катерина Ивановна и преисполнена великодушных чувств, но дама горячая и раздраженная, и оборвет... Да-с! Ну да нечего вспоминать о том! Воспитания, как и представить можете, Соня не получила. Пробовал я с ней, года четыре тому, географию и всемирную историю проходить; но как я сам в познании сем был некрепок, да и приличных к тому руководств не имелось, ибо какие имевшиеся книжки... гм!.. ну, их уже теперь и нет, этих книжек, то тем и кончилось все обучение. На Кире Персидском остановились. Потом, уже достигнув зрелого возраста, прочла она несколько книг содержания романического, да недавно еще, через посредство господина Лебезятникова, одну книжку – «Физиологию» Льюиса, извольте знать-с? – с большим интересом прочла и даже нам отрывочно вслух сообщала: вот и все ее просвещение. Теперь же обращусь к вам, милостивый государь мой, сам от себя с вопросом приватным: много ли может, по-вашему, бедная, но честная девица честным трудом заработать?.. Пятнадцать копеек в день, сударь, не заработает, если честна и не имеет особых талантов, да и то рук не покладая работавши! Да и то статский советник Клопшток, Иван Иванович, – изволили слышать? – не только денег за шитье полдюжины голландских рубах до сих пор не отдал, но даже с обидой погнался, затовав ногами и обозвав неприлично, под видом будто бы рубашечный ворот сшит не по мерке и косяком. А тут ребятишки голодные... А тут Катерина Ивановна, руки ломая, по комнате ходит, да красные пятна у ней на щеках выступают, – что в болезни этой и всегда бывает: «Живешь, дескать, ты, дармоедка, у нас, ешь и пьешь, и теплом пользуешься», а что тут пьешь и ешь, когда и ребятишки-то по три дня корки не видят! Лежал я тогда... ну, да уж что! лежал пьяненькой-с, и слышу, говорит моя Соня (безответная она, и голосок у ней такой кроткий... белокуренькая, личико всегда бледненькое, худенькое), говорит: «Что ж, Катерина Ивановна, неужели же мне на такое дело пойти?» А уж Дарья Францевна, женщина злонамеренная и полиции многократно известная, раза три через хозяйку навевалась. «А что ж, – отвечает Катерина Ивановна, в пересмешку, – чего беречь? Эко сокровище!» Но не вините, не вините, милостивый государь, не вините! Не в здравом рассудке сие сказано было, а при взволнованных чувствах, в болезни и при плаче детей не евших, да и сказано более ради оскорбления, чем в точном смысле... Ибо Катерина Ивановна такого уж характера, и как расплачутся дети, хоть бы и с голоду, тотчас же их бить начинает. И вижу я, эдак часу в шестом, Сонечка встала, надела платочек, надела бурнусик и с квартиры отправилась, а в девятом часу и назад обратно пришла. Пришла, и прямо к Катерине Ивановне, и на стол перед ней тридцать целковых молча выложила. Ни словечка при этом не вымолвила, хоть бы взглянула, а взяла только наш большой драдедамовый зеленый платок (общий такой у нас платок есть, драдедамовый), накрыла им совсем голову и лицо и легла на кровать, лицом к стенке, только плечики да тело все вздрагивают... А я, как и давеча, в том же виде лежал-с... И видел я тогда, молодой человек, видел я, как затем Катерина Ивановна, также ни слова не говоря, подошла к Сонечкиной постельке и весь вечер в ногах у ней на коленках простояла, ноги ей целовала, встать не хотела, а потом так обе и заснули вместе, обнявшись... обе... обе... да-с... а я... лежал пьяненькой-с.

Мармеладов замолчал, как будто голос у него пресекался. Потом вдруг поспешно налил, выпил и крякнул.

– С тех пор, государь мой, – продолжал он после некоторого молчания, – с тех пор, по одному неблагоприятному случаю и по донесению неблагоприятных лиц, – чему особенно способствовала Дарья Францевна, за то будто бы, что ей в надлежащем почтении манкировали, – с тех пор дочь моя, Софья Семеновна, желтый билет принуждена была получить, и уже вместе с нами по случаю сему не могла оставаться. Ибо и хозяйка, Амалия Федоровна, того допустить не хотела (а сама же прежде Дарье Францевне способствовала), да и господин Лебезятников... гм... Вот за Соню-то и вышла у него эта история с Катериною Ивановной. Сначала

сам добивался от Сонечки, а тут и в амбицию вдруг вошли: «Как, дескать, я, такой просвещенный человек, в одной квартире с таковскою буду жить?» А Катерина Ивановна не спустила, вступилась... ну и произошло... И заходит к нам Сонечка теперь более в сумерки, и Катерину Ивановну облегчает, и средства посильные доставляет... Живет же на квартире у портного Капернаумова, квартиру у них снимает, а Капернаумов хром и косноязычен, и все многочисленнейшее семейство его тоже косноязычное. И жена его тоже косноязычная... В одной комнате помещаются, а Соня свою имеет особую, с перегородкой... Гм, да... Люди беднейшие и косноязычные... да... Только встал я тогда поутру-с, надел лохмотья мои, воздел руки к небу и отправился к его превосходительству Ивану Афанасьевичу. Его превосходительство Ивана Афанасьевича извольте знать?.. Нет? Ну так Божия человека не знаете! Это – воск... воск перед лицом Господним; яко тает воск!.. Даже прослезилась, изволив все выслушать. «Ну, говорит, Мармеладов, раз уже ты обманул мои ожидания... Беру тебя еще раз на личную свою ответственность, – так и сказали, – помни, дескать, ступай!» Облобызал я прах ног его, мысленно, ибо взаправду не дозволили бы, бывши сановником и человеком новых государственных и образованных мыслей; воротился домой, и как объявил, что на службу опять зачислен и жалование получаю, Господи, что тогда было!..

Мармеладов опять остановился в сильном волнении. В это время вошла с улицы целая партия пьяниц, уже и без того пьяных, и раздались у входа звуки нанятой шарманки и детский, надтреснутый семилетний голосок, певший «Хуторок». Стало шумно. Хозяин и прислуга занялись вошедшими. Мармеладов, не обращая внимания на вошедших, стал продолжать рассказ. Он, казалось, уже сильно ослаб, но чем более хмелел, тем становился словоохотнее. Воспоминания о недавнем успехе по службе как бы оживили его и даже отразились на лице его каким-то сиянием. Раскольников слушал внимательно.

– Было же это, государь мой, назад пять недель. Да... Только что узнали они обе, Катерина Ивановна и Сонечка, Господи, точно я в царствие Божие переселился. Бывало, лежи, как скот, только брань! А ныне: на цыпочках ходят, детей унимают: «Семен Захарыч на службе устал, отдыхает, тш!» Кофею меня перед службой поят, сливки кипятят! Сливков настоящих доставать начали, слышите! И откуда они сколотились мне на обмундировку приличную, одиннадцать рублей пятьдесят копеек, не понимаю? Сапоги, манишки коленкоровые – великолепнейшие, вицмундир, все за одиннадцать с полтиной состряпали в превосходнейшем виде-с. Пришел я в первый день поутру со службы, смотрю: Катерина Ивановна два блюда сготовила, суп и солонину под хреном, о чем и понятия до сих пор не имелось. Платьев-то нет у ней никаких... то есть никаких-с, а тут точно в гости собралась, приоделась, и не то чтобы что-нибудь, а так, из ничего все сделать сумеют: причешутся, воротничок там какой-нибудь чистенький, нарукавнички, ан совсем другая особа выходит, и помолодела, и похорошела. Сонечка, голубка моя, только деньгами способствовала, а самой, говорит, мне теперь, до времени, у вас часто бывать неприлично, так разве, в сумерки, чтобы никто не видал. Слышите, слышите? Пришел я после обеда заснуть, так что ж бы вы думали, ведь не вытерпела Катерина Ивановна: за неделю еще с хозяйкой, с Амалией Федоровной, последним образом перессорились, а тут на чашку кофею позвала. Два часа просидели и все шептались: «Дескать, как теперь Семен Захарыч на службе и жалование получает, и к его превосходительству сам являлся, и его превосходительство сам вышел, всем ждать велел, а Семена Захарыча мимо всех за руку в кабинет провел». Слышите, слышите? «Я, конечно, говорит, Семен Захарыч, помня ваши заслуги, и хотя вы и придерживались этой легкомысленной слабости, но как уж вы теперь обещаетесь, и что сверх того без вас у нас худо пошло (слышите, слышите!), то и надеюсь, говорит, теперь на ваше благородное слово», то есть все это, я вам скажу, взяла да и выдумала, и не то чтоб из легкомыслия, для одной похвальбы-с! Нет-с, сама всему верит, собственными воображениями сама себя тешит, ей-богу-с! И я не осуждаю; нет, этого я не осуждаю!.. Когда же, шесть дней назад, я первое жалованье мое – двадцать три рубля сорок копеек – сполна принес, малявочкой меня

назвала: «Малявочка, говорит, ты эдакая!» И наедине-с, понимаете ли? Ну уж что, кажется, во мне за краса, и какой я супруг? Нет, ущипнула за щеку: «Малявочка ты эдакая!» – говорит.

Мармеладов остановился, хотел было улыбнуться, но вдруг подбородок его запрыгал. Он, впрочем, удержался. Этот кабак, развращенный вид, пять ночей на сенных барках и штоф, а вместе с тем эта болезненная любовь к жене и семье сбивали его слушателя с толку. Раскольников слушал напряженно, но с ощущением болезненным. Он досадовал, что зашел сюда.

– Милостивый государь, милостивый государь! – воскликнул Мармеладов, оправившись, – о государь мой, вам, может быть, все это в смех, как и прочим, и только беспокою я вас глупостию всех этих мизерных подробностей домашней жизни моей, ну а мне не в смех! Ибо я все это могу чувствовать... И в продолжение всего того райского дня моей жизни и всего того вечера я и сам в мечтаниях летучих препровождал: и то есть как я это все устрою, и ребятишек одену, и ей покой дам, и дочь мою однородную от бесчестья в лоно семьи возвращу... И многое, многое... Позволительно, сударь. Ну-с, государь ты мой (Мармеладов вдруг как будто вздрогнул, поднял голову и в упор посмотрел на своего слушателя), ну-с, а на другой же день, после всех сих мечтаний (то есть это будет ровно пять суток назад тому), к вечеру, я хитрым обманом, как тать в ночи, похитил у Катерины Ивановны от сундука ее ключ, вынул что осталось из принесенного жалованья, сколько всего уж не помню, и вот-с, глядите на меня все! Пятый день из дома, и там меня ищут, и службе конец, и вицмундир в распивочной у Египетского моста лежит, взамен чего и получил сие одеяние... и всему конец!

Мармеладов стукнул себя кулаком по лбу, стиснул зубы, закрыл глаза и крепко оперся локтем на стол. Но через минуту лицо его вдруг изменилось, и с каким-то напускным лукавством и выделанным нахальством взглянул на Раскольникова, засмеялся и проговорил: – А сегодня у Сони был, на похмелье ходил просить! Хе-хе-хе!

– Неужели дала? – крикнул кто-то со стороны из вошедших, крикнул и захохотал во всю глотку.

– Вот этот самый полуштоф-с на ее деньги и куплен, – произнес Мармеладов, исключительно обращаясь к Раскольникову. – Тридцать копеек вынесла, своими руками, последние, все что было, сам видел... Ничего не сказала, только молча на меня посмотрела... Так не на земле, а там... о людях тоскуют, плачут, а не укоряют, не укоряют! А это больней-с, больней-с, когда не укоряют!.. Тридцать копеек, да-с. А ведь и ей теперь они нужны, а? Как вы думаете, сударь мой дорогой? Ведь она теперь чистоту наблюдать должна. Денег стоит сия чистота, особая-то, понимаете? Понимаете? Ну, там помадки тоже купить, ведь нельзя же-с; юбки крахмальные, ботиночку эдакую, пофиглярнее, чтобы ножку выставить, когда лужу придется переходить. Понимаете ли, понимаете ли, сударь, что значит сия чистота? Ну-с, а я вот, кровный-то отец, тридцать-то эти копеек и стащил себе на похмелье! И пью-с! И уж пропилил-с!.. Ну, кто же такого, как я, пожалеет? ась? Жаль вам теперь меня, сударь, аль нет? Говорите, сударь, жаль али нет? Хе-хе-хе-хе!



Он хотел было налить, но уже нечего было. Полуштоф был пустой.

– Да чего тебя жалеть-то? – крикнул хозяин, очутившийся опять подле них.

Раздался смех и даже ругательства. Смеялись и ругались слушавшие и неслушавшие, так, глядя только на одну фигуру отставного чиновника.

– Жалеть! зачем меня жалеть! – вдруг возопил Мармеладов, вставая с протянутою вперед рукой, в решительном вдохновении, как будто только и ждал этих слов. – Зачем жалеть, говоришь ты? Да! меня жалеть не за что! Меня распять надо, распять на кресте, а не жалеть!

Но распни, судия, распни и, распяв, пожалей его! И тогда я сам к тебе пойду на пропятие, ибо не веселья жажду, а скорби и слез!.. Думаешь ли ты, продавец, что этот полуштоф твой мне в сласть пошел? Скорби, скорби искал я на дне его, скорби и слез, и вкусил, и обрел; а пожалеет нас тот, кто всех пожалел и кто всех и вся понимал, Он единый, Он и судия. Приидет в тот день и спросит: «А где дочь, что мачехе злой и чахоточной, что детям чужим и малолетним себя предала? Где дочь, что отца своего земного, пьяницу непотребного, не ужасаясь зверства его, пожалела?» И скажет: «Прииди! Я уже простил тебя раз... Простил тебя раз... Прощаются же и теперь грехи твои мнози, за то, что возлюбила много...» И простит мою Соню, простит, я уж знаю, что простит... Я это давеча, как у ней был, в моем сердце почувствовал!.. И всех рассудит и простит, и добрых и злых, и премудрых и смиренных... И когда уже кончит над всеми, тогда возглаголет и нам: «Выходите, скажет, и вы! Выходите пьяненькие, выходите слабенькие, выходите соромники!» И мы выйдем все, не стыдясь, и станем. И скажет: «Свиньи вы! образа звериного и печати его; но приидите и вы!» И возглаголят премудрые, возглаголят разумные: «Господи! почто сих приемлешь?» И скажет: «Потому их приемлю, премудрые, потому приемлю, разумные, что ни единый из сих сам не считал себя достойным сего...» И прострет к нам руку Свои, и мы припадем... и заплачем... и всё поймем! Тогда всё поймем!.. и все поймут... и Катерина Ивановна... и она поймет... Господи, да приидет Царствие Твое!

И он опустился на лавку, истощенный и обессиленный, ни на кого не смотря, как бы забыв окружающее и глубоко задумавшись. Слова его произвели некоторое впечатление; на минуту воцарилось молчание, но вскоре раздался прежний смех и ругательства:

– Рассудил!

– Заврался!

– Чиновник!

И проч., и проч.

– Пойдемте, сударь, – сказал вдруг Мармеладов, поднимая голову и обращаясь к Раскольникову, – доведите меня... Дом Козеля, на дворе. Пора... к Катерине Ивановне...

Раскольникову давно уже хотелось уйти; помочь же ему он и сам думал. Мармеладов оказался гораздо слабее ногами, чем в речах, и крепко оперся на молодого человека. Идти было шагов двести – триста. Смущение и страх все более и более овладевали пьяницей по мере приближения к дому.

– Я не Катерины Ивановны теперь боюсь, – бормотал он в волнении, – и не того, что она мне волосы драть начнет. Что волосы!.. вздор волосы! Это я говорю! Оно даже и лучше, коли драть начнет, а я не того боюсь... я... глаз ее боюсь... да... глаз... Красных пятен на щеках тоже боюсь... и еще – ее дыхания боюсь... Видал ты, как в этой болезни дышат... при взволнованных чувствах? Детского плача тоже боюсь... Потому как если Соня не накормила, то... уж не знаю что! не знаю! А побоев не боюсь... Знай, сударь, что мне такие побои не токмо не в боль, но и в наслаждение бывают... Ибо без сего я и сам не могу обойтись. Оно лучше. Пусть побьет, душу отведет... оно лучше... А вот и дом. Козеля дом. Слесаря, немца, богатого... веди!

Они вошли со двора и прошли в четвертый этаж. Лестница чем дальше, тем становилась темнее. Было уже почти одиннадцать часов, и хотя в эту пору в Петербурге нет настоящей ночи, но наверху лестницы было очень темно.

Маленькая закоптелая дверь в конце лестницы, на самом верху, была отворена. Огарок освещал беднейшую комнату шагов в десять длиной; всю ее было видно из сеней. Все было разбросано и в беспорядке, в особенности разное детское тряпье. Через задний угол была протянута дырявая простыня. За нею, вероятно, помещалась кровать. В самой же комнате было всего только два стула и клеенчатый очень ободранный диван, перед которым стоял старый кухонный сосновый стол, некрашенный и ничем не покрытый. На краю стола стоял догоравший сальный огарок в железном подсвечнике. Выходило, что Мармеладов помещался в осо-

бой комнате, а не в углу, но комната его была проходная. Дверь в дальнейшие помещения или клетки, на которые разбивалась квартира Амалии Липпехель, была приотворена. Там было шумно и криливо. Хохотали. Кажется, играли в карты и пили чай. Вылетали иногда слова самые нецеремонные.

Раскольников тотчас признал Катерину Ивановну. Это была ужасно похудевшая женщина, тонкая, довольно высокая и стройная, еще с прекрасными темно-русскими волосами и действительно с покрасневшимися до пятен щеками. Она ходила взад и вперед по своей небольшой комнате, сжав руки на груди, с запекшимися губами, и неровно, прерывисто дышала. Глаза ее блестели как в лихорадке, но взгляд был резок и неподвижен, и болезненное впечатление производило это чахоточное и взволнованное лицо, при последнем освещении догоравшего огарка, трепетавшем на лице ее. Раскольникову она показалась лет тридцати и действительно была не пара Мармеладову... Входящих она не слыхала и не заметила; казалось, она была в каком-то забытии, не слушала и не видела. В комнате было душно, но окна она не отворила; с лестницы несло вонью, но дверь на лестницу была не затворена; из внутренних помещений, сквозь непритворенную дверь, неслись волны табачного дыма, она кашляла, но дверь не притворяла. Самая маленькая девочка, лет шести, спала на полу, как-то сидя, скорчившись и уткнув голову в диван. Мальчик, годом старше ее, весь дрожал в углу и плакал. Его, вероятно, только что прибили. Старшая девочка, лет девяти, высокенькая и тоненькая как спичка, в одной худенькой и разодранной всюду рубашке и в накинутом на голые плечи ветхом драдедамовом бурнусике, сшитом ей, вероятно, два года назад, потому что он не доходил теперь и до колен, стояла в углу подле маленького брата, обхватив его шею своею длиною, высохшею как спичка рукой. Она, кажется, унимала его, что-то шептала ему, всячески сдерживала, чтоб он как-нибудь опять не захныкал, и в то же время со страхом следила за матерью своими большими-большими темными глазами, которые казались еще больше на ее исхудавшем и испуганном личике. Мармеладов, не входя в комнату, стал в самых дверях на коленки, а Раскольникова протолкнул вперед. Женщина, увидев незнакомого, рассеянно остановилась перед ним, на мгновение очнувшись и как бы соображая: зачем это он вошел? Но, верно, ей тотчас же представилось, что он идет в другие комнаты, так как ихняя была проходная. Сообразив это и не обращая уже более на него внимания, она пошла к сенным дверям, чтобы притворить их, и вдруг вскрикнула, увидев на самом пороге стоящего на коленках мужа.

– А! – закричала она в испуге, – воротился! Колодник! Изверг!.. А где деньги? Что у тебя в кармане, показывай! И платье не то! где твое платье? где деньги? говори!..

И она бросилась его обыскивать. Мармеладов тотчас же послушно и покорно развел руки в обе стороны, чтобы тем облегчить карманный обыск. Денег не было ни копейки.

– Где же деньги? – кричала она. – О Господи, неужели же он всё пропил! Ведь двенадцать целковых в сундуке оставалось!.. – и вдруг, в бешенстве, она схватила его за волосы и потащила в комнату. Мармеладов сам облегчал ее усилия, смиренно ползя за нею на коленках.

– И это мне в наслаждение! И это мне не в боль, а в наслаждение, милости-вый государь, – выкрикивал он, потрясаемый за волосы и даже раз стукнувшись лбом об пол. Спавший на полу ребенок проснулся и заплакал. Мальчик в углу не выдержал, задрожал, закричал и бросился к сестре в страшном испуге, почти в припадке. Старшая девочка дрожала со сна как лист.

– Пропил! всё, всё пропил! – кричала в отчаянии бедная женщина, – и платье не то! Голодные, голодные! (и, ломая руки, она указывала на детей). О, треклятая жизнь! А вам, вам не стыдно, – вдруг набросилась она на Раскольникова, – из кабака! Ты с ним пил? Ты тоже с ним пил! Вон!

Молодой человек поспешил уйти, не говоря ни слова. К тому же внутренняя дверь отворилась настежь, и из нее выглянуло несколько любопытных. Протягивались наглые смеющиеся головы с папиросками и трубками, в ермолках. Виднелись фигуры в халатах и совершенно

нараспашку, в летних до неприличия костюмах, иные с картами в руках. Особенно потешно смеялись они, когда Мармеладов, таскаемый за волосы, кричал, что это ему в наслаждение. Стали даже входить в комнату; послышался, наконец, зловещий визг: это продиралась вперед сама Амалия Липпехель, чтобы произвести распоряжок по-свойски и в сотый раз испугать бедную женщину ругательским приказанием завтра же очистить квартиру. Уходя, Раскольников успел просунуть руку в карман, загреб сколько пришлось медных денег, доставшихся ему с разменянного в распивочной рубля, и неприметно положил на окошко. Потом уже на лестнице он одумался и хотел было воротиться.

«Ну что это за вздор такой я сделал, – подумал он, – тут у них Соня есть, а мне самому надо». Но рассудив, что взять назад уже невозможно и что все-таки он и без того бы не взял, он махнул рукой и пошел на свою квартиру. «Соне помадки ведь тоже нужно, – продолжал он, шагая по улице, и язвительно усмехнулся, – денег стоит сия чистота... Гм! А ведь Сонечка-то, пожалуй, сегодня и сама обанкрутится, потому тот же риск, охота по красному зверю... золотопромышленность... вот они все, стало быть, и на бобах завтра без моих-то денег... Ай да Соня! Какой колодезь, однако ж, сумели выкопать! и пользуются! Вот ведь пользуются же! И привыкли. Поплакали, и привыкли. Ко всему-то подлец-человек привыкает!»

Он задумался.

– Ну а коли я соврал, – воскликнул он вдруг невольно, – коли действительно не *подлец* человек, весь вообще, весь род то есть человеческий, то значит, что остальное все – предрассудки, одни только страхи напущенные, и нет никаких преград, и так тому и следует быть!..



III

Он проснулся на другой день уже поздно, после тревожного сна, но сон не подкрепил его. Проснулся он желчный, раздражительный, злой и с ненавистью посмотрел на свою каморку. Это была крошечная клетушка, шагов в шесть длиной, имевшая самый жалкий вид с своими желтенькими, пыльными и всюду отставшими от стены обоями, и до того низкая, что чуть-чуть

высокому человеку становилось в ней жутко, и все казалось, что вот-вот стукнешься головой о потолок. Мебель соответствовала помещению: было три старых стула, не совсем исправных, крашенный стол в углу, на котором лежало несколько тетрадей и книг; уже по тому одному, как они были запылены, видно было, что до них давно уже не касалась ничья рука; и, наконец, неуклюжая большая софа, занимавшая чуть не всю стену и половину ширины всей комнаты, когда-то обитая ситцем, но теперь в лохмотьях и служившая постелью Раскольникову. Часто он спал на ней так, как был, не раздеваясь, без простыни, покрываясь своим старым, ветхим, студенческим пальто и с одной маленькою подушкой в головах, под которую подкладывал все что имел белья, чистого и заношенного, чтобы было повыше изголовье. Перед софой стоял маленький столик.

Трудно было более опуститься и обнеряшиться; но Раскольникову это было даже приятно в его теперешнем состоянии духа. Он решительно ушел от всех, как черепаха в свою скорлупу, и даже лицо служанки, обязанной ему прислуживать и заглядывавшей иногда в его комнату, возбуждало в нем желчь и конвульсии. Так бывает у иных мономанов, слишком на чем-нибудь сосредоточившихся. Квартирная хозяйка его две недели как уже перестала ему отпускать кушанье, и он не подумал еще до сих пор сходить объясниться с нею, хотя и сидел без обеда. Настасья, кухарка и единственная служанка хозяйкина, отчасти была рада такому настроению жильца и совсем перестала у него убирать и мести, так только в неделю раз, нечаянно, бралась иногда за веник. Она же и разбудила его теперь.

– Вставай, чего спишь! – закричала она над ним, – десятый час. Я тебе чай принесла; хошь чайку-то? Поди, отошал?

Жилец открыл глаза, вздрогнул и узнал Настасью.

– Чай-то от хозяйки, что ль? – спросил он, медленно и с болезненным видом приподнимаясь на софе.

– Како от хозяйки!

Она поставила перед ним свой собственный надтреснутый чайник, с спитым уже чаем, и положила два желтых кусочка сахару.

– Вот, Настасья, возьми, пожалуйста, – сказал он, пошарив в кармане (он так и спал одетый) и вытащив горсточку меди, – сходи и купи мне сайку. Да возьми в колбасной хоть колбасы немного, подешевле.

– Сайку я тебе сею минутою принесу, а не хошь ли вместо колбасы-то щей? Хорошие щи, вчерашние. Еще вчера тебе отставила, да ты пришел поздно. Хорошие щи.

Когда щи были принесены и он принялся за них, Настасья уселась подле него на софе и стала болтать. Она была из деревенских баб и очень болтливая баба.

– Прасковья-то Павловна в полицу на тебя хочет жалиться, – сказала она.

Он крепко поморщился.

– В полицию? Что ей надо?

– Денег не платишь и с фатеры не сходишь. Известно, что надо.

– Э, черта еще этого не доставало, – бормотал он, скрыпя зубами, – нет, это мне теперь... некстати... Дура она, – прибавил он громко. – Я сегодня к ней зайду, поговорю.

– Дура-то она дура, такая же, как и я, а ты что, умник, лежишь как мешок, ничего от тебя не видать? Прежде, говоришь, детей учить ходил, а теперь пошто ничего не делаешь?

– Я делаю... – нехотя и сурово проговорил Раскольников.

– Что делаешь?

– Работу...

– Каку работу?

– Думаю, – серьезно отвечал он, помолчав.

Настасья так и покатила со смеху. Она была из смешливых и, когда рассмешат, смеялась неслышно, колыхаясь и трясясь всем телом, до тех пор, что самой тошно уж становилось.

– Денег-то много, что ль, надумал? – смогла она наконец выговорить.

– Без сапог нельзя детей учить. Да и наплевать.

– А ты в колодезь не плюй.

– За детей медью платят. Что на копейки сделаешь? – продолжал он с неохотой, как бы отвечая собственным мыслям.

– А тебе бы сразу весь капитал?

Он странно посмотрел на нее.

– Да, весь капитал, – твердо отвечал он, помолчав.

– Ну, ты помаленьку, а то испужаешь; страшно уж очинна. За сайкой-то ходить али нет?

– Как хочешь.

– Да, забыла! К тебе ведь письмо вчера без тебя пришло.

– Письмо! ко мне! от кого?

– От кого, не знаю. Три копейки почтальону своих отдала. Отдашь, что ли?

– Так неси же, ради Бога, неси! – закричал весь в волнении Раскольников, – Господи!

Через минуту явилось письмо. Так и есть: от матери, из Р – и губернии. Он даже побледнел, принимая его. Давно уже не получал он писем; но теперь и еще что-то другое вдруг сжало ему сердце.

– Настасья, уйди, ради Бога; вот твои три копейки, только, ради Бога, скорей уйди!

Письмо дрожало в руках его; он не хотел распечатывать при ней: ему хотелось остаться *наедине* с этим письмом. Когда Настасья вышла, он быстро поднес его к губам и поцеловал; потом долго еще вглядывался в почерк адреса, в знакомый и милый ему мелкий и косенький почерк его матери, учившей его когда-то читать и писать. Он медлил; он даже как будто боялся чего-то. Наконец распечатал: письмо было большое, плотное, в два лота; два большие почтовые листа были мелко-намелко исписаны.

«Милый мой Родя, – писала мать, – вот уже два месяца с лишком как я не беседовала с тобой письменно, от чего сама страдала и даже иную ночь не спала, думая. Но, наверно, ты не обвинишь меня в этом невольном моем молчании. Ты знаешь, как я люблю тебя; ты один у нас, у меня и у Дуни, ты наше все, вся надежда, упование наше. Что было со мною, когда я узнала, что ты уже несколько месяцев оставил университет, за неимением чем содержать себя, и что уроки и прочие средства твои прекратились! Чем могла я с моими ста двадцатью рублями в год пенсионом помочь тебе? Пятнадцать рублей, которые я послала тебе четыре месяца назад, я занимала, как ты и сам знаешь, в счет этого же пенсионом, у здешнего нашего купца Афанасия Ивановича Бахрушина. Он добрый человек и был еще приятелем твоего отца. Но, дав ему право на получение за меня пенсионом, я должна была ждать, пока выплатится долг, а это только что теперь исполнилось, так что я ничего не могла во все это время послать тебе. Но теперь, слава Богу, я, кажется, могу тебе еще выслать, да и вообще мы можем теперь даже похвалиться фортуной, о чем и спешу сообщить тебе. И, во-первых, угадываешь ли ты, милый Родя, что сестра твоя вот уже полтора месяца как живет со мною, и мы уже больше не разлучимся и впредь. Слава тебе Господи, кончились ее истязания, но расскажу тебе все по порядку, чтобы ты узнал, как все было, и что мы от тебя до сих пор скрывали. Когда ты писал мне, тому назад два месяца, что слышал от кого-то, будто Дуня терпит много от грубости в доме господ Свидригайловых, и спрашивал от меня точных объяснений, – что могла я тогда написать тебе в ответ? Если б я написала тебе всю правду, то ты, пожалуй бы, все бросил и хоть пешком, а пришел бы к нам, потому я и характер и чувства твои знаю, и ты бы не дал в обиду сестру свою. Я же сама была в отчаянии, но что было делать? Я и сама-то всей правды тогда не знала. Главное же затруднение состояло в том, что Дунечка, вступив прошлого года в их дом гувернанткой, взяла вперед целых сто рублей, под условием ежемесячного вычета из жалованья, и, стало быть, и нельзя было место оставить, не расплатившись с долгом. Сумму же эту (теперь могу

тебе все объяснить, бесценный Родя) взяла она более для того, чтобы выслать тебе шестьдесят рублей, в которых ты тогда так нуждался и которые ты и получил от нас в прошлом году. Мы тебя тогда обманули, написали, что это из скопленных Дунечкиных прежних денег, но это было не так, а теперь сообщаю тебе всю правду, потому что все теперь переменялось внезапно, по воле Божией, к лучшему, и чтобы ты знал, как любит тебя Дуня и какое у нее бесценное сердце. Действительно, господин Свидригайлов сначала обходился с ней очень грубо и делал ей разные неучтивости и насмешки за столом... Но не хочу пускаться во все эти тяжелые подробности, чтобы не волновать тебя напрасно, когда уж все теперь кончено. Короче, несмотря на доброе и благородное обращение Марфы Петровны, супруги господина Свидригайлова, и всех домашних, Дунечке было очень тяжело, особенно когда господин Свидригайлов находился, по старой полковой привычке своей, под влиянием Бахуса. Но что же оказалось впоследствии? Представь себе, что этот сумасброд давно уже возымел к Дуне страсть, но все скрывал это под видом грубости и презрения к ней. Может быть, он и сам стыдился и приходил в ужас, видя себя уже в летах и отцом семейства, при таких легкомысленных надеждах, а потому и злился невольно на Дуню. А может быть, и то, что он грубостью своего обращения и насмешками хотел только прикрыть от других всю истину. Но наконец не удержался и осмелился сделать Дуне явное и гнусное предложение, обещая ей разные награды и сверх того бросить все и уехать с нею в другую деревню или, пожалуй, за границу. Можешь представить себе все ее страдания! Оставить сейчас место было нельзя, не только по причине денежного долга, но и шадя Марфу Петровну, которая могла бы вдруг возыметь подозрения, а следовательно, и пришлось бы поселить в семействе раздор. Да и для Дунечки был бы большой скандал; уж так не обошлось бы. Были тут и многие разные причины, так что раньше шести недель Дуня никак не могла рассчитывать вырваться из этого ужасного дома. Конечно, ты знаешь Дуню, знаешь, как она умна и с каким твердым характером. Дунечка многое может сносить и даже в самых крайних случаях найти в себе столько великодушия, чтобы не потерять своей твердости. Она даже мне не написала обо всем, чтобы не расстроить меня, а мы часто пересылались вестями. Развязка же наступила неожиданная. Марфа Петровна нечаянно подслушала своего мужа, умолявшего Дунечку в саду, и, поняв все превратно, во всем ее же и обвинила, думая, что она-то всему и причиной. Произошла у них тут же в саду ужасная сцена: Марфа Петровна даже ударила Дуню, не хотела ничего слушать, а сама целый час кричала и, наконец, приказала тотчас же отвезти Дуню ко мне в город, на простой крестьянской телеге, в которую сбросили все ее вещи, белье, платья, все как случилось, неувязанное и неуложенное. А тут поднялся проливной дождь, и Дуня, оскорбленная и опозоренная, должна была проехать с мужиком целых семнадцать верст в некрытой телеге. Подумай теперь, что могла я тебе написать в письме, в ответ на твое, полученное мною два месяца назад, и о чем писать? Сама я была в отчаянии; правду написать тебе не смела, потому что ты очень бы был несчастлив, огорчен и возмущен, да и что мог бы ты сделать? Пожалуй, еще себя погубить, да и Дунечка запрещала; а наполнять письмо пустяками и о чем-нибудь, тогда как в душе такое горе, я не могла. Целый месяц у нас по всему городу ходили сплетни об этой истории, и до того уж дошло, что нам даже в церковь нельзя было ходить с Дуней от презрительных взглядов и шептаний, и даже вслух при нас были разговоры. Все-то знакомые от нас отстранились, все перестали даже кланяться, и я наверно узнала, что купеческие приказчики и некоторые канцеляристы хотели нанести нам низкое оскорбление, вымазав дегтем ворота нашего дома, так что хозяева стали требовать, чтобы мы с квартиры съехали. Всему этому причиной была Марфа Петровна, которая успела обвинить и загрязнить Дуню во всех домах. Она у нас со всеми знакома и в этот месяц поминутно приезжала в город, и так как она немного болтлива и любит рассказывать про свои семейные дела и, особенно, жаловаться на своего мужа всем и каждому, что очень нехорошо, то и разнесла всю историю, в короткое время, не только в городе, но и по уезду. Я заболела, Дунечка же была тверже меня, и если бы ты видел, как она все переносила и меня же утешала и ободряла! Она ангел! Но,

по милосердию Божию, наши муки были сокращены: господин Свидригайлов одумался и раскаялся и, вероятно пожалев Дуню, представил Марфе Петровне полные и очевидные доказательства всей Дунечкиной невинности, а именно: письмо, которое Дуня еще до тех пор, когда Марфа Петровна застала их в саду, принуждена была написать и передать ему, чтоб отклонить личные объяснения и тайные свидания, на которых он настаивал, и которое, по отъезде Дунечки, осталось в руках господина Свидригайлова. В этом письме она самым пылким образом и с полным негодованием укоряла его именно за неблагородство поведения его относительно Марфы Петровны, поставляла ему на вид, что он отец и семьянин и что, наконец, как гнусно с его стороны мучить и делать несчастною и без того уже несчастную и беззащитную девушку. Одним словом, милый Родя, письмо это так благородно и трогательно написано, что я рыдала, читая его, и до сих пор не могу его читать без слез. Кроме того, в оправдание Дуни, явились наконец и свидетельства слуг, которые видели и знали гораздо больше, чем предполагал сам господин Свидригайлов, как это и всегда водится. Марфа Петровна была совершенно поражена и «вновь убита», как сама она нам признавалась, но зато вполне убедилась в невинности Дунечкиной и на другой же день, в воскресенье, приехав прямо в собор, на коленях и со слезами молила Владычицу дать ей силу перенести это новое испытание и исполнить долг свой. Затем, прямо из собора, ни к кому не заезжая, приехала к нам, рассказала нам все, горько плакала и, в полном раскаянии, обнимала и умоляла Дуню простить ее. В то же утро, нисколько не мешкая, прямо от нас, отправилась по всем домам в городе и везде, в самых лестных для Дунечки выражениях, проливая слезы, восстановила ее невинность и благородство ее чувств и поведения. Мало того, всем показывала и читала вслух собственноручное письмо Дунечкино к господину Свидригайлову и даже давала снимать с него копии (что, мне кажется, уже и лишнее). Таким образом, ей пришлось несколько дней сряду объезжать всех в городе, так как иные стали обижаться, что другим оказано было предпочтение, и, таким образом, завелись очереди, так что в каждом доме уже ждали заранее и все знали, что в такой-то день Марфа Петровна будет там-то читать это письмо, и на каждое чтение опять-таки собирались даже и те, которые письмо уже несколько раз прослушали и у себя в домах, и у других знакомых, по очереди. Мое мнение, что многое, очень многое, тут было лишнее; но Марфа Петровна уже такого характера. По крайней мере, она вполне восстановила честь Дунечки, и вся гнусность этого дела легла неизгладимым позором на ее мужа, как на главного виновника, так что мне его даже и жаль; слишком уже строго поступили с этим сумасбродом. Дуню тотчас же стали приглашать давать уроки в некоторых домах, но она отказалась. Вообще же все стали к ней вдруг относиться с особенным уважением. Все это способствовало главным образом и тому неожиданному случаю, через который теперь меняется, можно сказать, вся судьба наша. Узнай, милый Родя, что к Дуне посватался жених и что она успела уже дать свое согласие, о чем и спешу уведомить тебя поскорее. И хотя дело это сделалось и без твоего совета, но ты, вероятно, не будешь ни на меня, ни на сестру в претензии, так как сам увидишь, из дела же, что ждать и откладывать до получения твоего ответа было бы нам невозможно. Да и сам ты не мог бы заочно обсудить всего в точности. Случилось же так. Он уже надворный советник, Петр Петрович Лужин, и дальний родственник Марфы Петровны, которая многому в этом способствовала. Начал с того, что через нее изъявил желание с нами познакомиться, был как следует принят, пил кофе, а на другой же день прислал письмо, в котором весьма вежливо изъяснил свое предложение и просил скорого и решительного ответа. Человек он деловой и занятый, и спешит теперь в Петербург, так что дорожит каждою минутой. Разумеется, мы сначала были очень поражены, так как все это произошло слишком скоро и неожиданно. Соображали и раздумывали мы вместе весь тот день. Человек он благонадежный и обеспеченный, служит в двух местах и уже имеет свой капитал. Правда, ему уже сорок пять лет, но он довольно приятной наружности и еще может нравиться женщинам, да и вообще человек он весьма солидный и приличный, немного только угрюмый и как бы высокомерный. Но это, может быть, только так кажется с первого взгляда.

Да и предупреждаю тебя, милый Родя, как увидишься с ним в Петербурге, что произойдет в очень скором времени, то не суди слишком быстро и пылко, как это и свойственно тебе, если на первый взгляд тебе что-нибудь в нем не покажется. Говорю это на случай, хотя и уверена, что он произведет на тебя впечатление приятное. Да и кроме того, чтоб обознать какого бы то ни было человека, нужно относиться к нему постепенно и осторожно, чтобы не впасть в ошибку и предубеждение, которые весьма трудно после исправить и загладить. А Петр Петрович, по крайней мере, по многим признакам, человек весьма почтенный. В первый же свой визит он объявил нам, что он человек положительный, но во многом разделяет, как он сам выразился, «убеждения новейших поколений наших» и враг всех предрассудков. Многое и еще он говорил, потому что несколько как бы тщеславен и очень любит, чтоб его слушали, но ведь это почти не порок. Я, разумеется, мало поняла, но Дуня объяснила мне, что он человек хотя и небольшого образования, но умный и, кажется, добрый. Ты знаешь характер сестры твоей, Родя. Это девушка твердая, благоразумная, терпеливая и великодушная, хотя и с пылким сердцем, что я хорошо в ней изучила. Конечно, ни с ее, ни с его стороны особенной любви тут нет, но Дуня, кроме того что девушка умная, – в то же время и существо благородное, как ангел, и за долг поставит себе составить счастье мужа, который в свою очередь стал бы заботиться о ее счастье, а в последнем мы не имеем покамест больших причин сомневаться, хотя и скоренько, признаться, сделалось дело. К тому же он человек очень расчетливый и, конечно, сам увидит, что его собственное супружеское счастье будет тем вернее, чем Дунечка будет за ним счастливее. А что там какие-нибудь неровности в характере, какие-нибудь старые привычки и даже некоторое несогласие в мыслях (чего и в самых счастливых супружествах обойти нельзя), то на этот счет Дунечка сама мне сказала, что она на себя надеется; что беспокоиться тут нечего и что она многое может перенести, под условием если дальнейшие отношения будут честные и справедливые. Он, например, и мне показался сначала как бы резким; но ведь это может происходить именно оттого, что он прямодушный человек, и непременно так. Например, при втором визите, уже получив согласие, в разговоре он выразился, что уж и прежде, не зная Дуни, положил взять девушку честную, но без приданого, и непременно такую, которая уже испытала бедственное положение; потому, как объяснил он, что муж ничем не должен быть обязан своей жене, а гораздо лучше, если жена считает мужа за своего благодетеля. Прибавлю, что он выразился несколько мягче и ласковее, чем я написала, потому что я забыла настоящее выражение, а помню одну только мысль, и, кроме того, сказал он это отнюдь не преднамеренно, а, очевидно, проговорившись, в пылу разговора, так что даже старался потом поправиться и смягчить; но мне все-таки показалось это немного как бы резко, и я сообщила потом Дуне. Но Дуня даже с досадой отвечала мне, что «слова еще не дело», и это, конечно, справедливо. Пред тем, как решиться, Дунечка не спала всю ночь и, полагая, что я уже сплю, встала с постели и всю ночь ходила взад и вперед по комнате; наконец стала на колени и долго и горячо молилась перед образом, а наутро объявила мне, что она решилась.

Я уже упомянула, что Петр Петрович отправляется теперь в Петербург. У него там большие дела, и он хочет открыть в Петербурге публичную адвокатскую контору. Он давно уже занимается хождением по разным искам и тяжбам и на днях только что выиграл одну значительную тяжбу. В Петербург же ему и потому необходимо, что там у него одно значительное дело в сенате. Таким образом, милый Родя, он и тебе может быть весьма полезен, даже во всем, и мы с Дуней уже положили, что ты, даже с теперешнего же дня, мог бы определенно начать свою будущую карьеру и считать участь свою уже ясно определившеюся. О если б это осуществилось! Это была бы такая выгода, что надо считать ее не иначе, как прямою к нам милостию Вседержителя. Дуня только и мечтает об этом. Мы уже рискнули сказать несколько слов на этот счет Петру Петровичу. Он выразился осторожно и сказал, что, конечно, так как ему без секретаря обойтись нельзя, то, разумеется, лучше платить жалованье родственнику, чем чужому, если только тот окажется способным к должности (еще бы ты-то не оказался способен!), но

тут же выразил и сомнение, что университетские занятия твои не оставят тебе времени для занятий в его конторе. На этот раз тем дело и кончилось, но Дуня ни о чем, кроме этого, теперь и не думает. Она теперь, уже несколько дней, просто в каком-то жару и составила уже целый проект о том, что впоследствии ты можешь быть товарищем и даже компаньоном Петра Петровича по его тяжёлым занятиям, тем более что ты сам на юридическом факультете. Я, Родя, вполне с нею согласна и разделяю все ее планы и надежды, видя в них полную вероятность; и, несмотря на теперешнюю, весьма объясняемую уклончивость Петра Петровича (потому что он тебя еще не знает), Дуня твердо уверена, что достигнет всего своим добрым влиянием на будущего своего мужа, и в этом она уверена. Уж конечно, мы остереглись проговориться Петру Петровичу хоть о чем-нибудь из этих дальнейших мечтаний наших и, главное, о том, что ты будешь его компаньоном. Он человек положительный и, пожалуй, принял бы очень сухо, так как все это показалось бы ему одними только мечтаниями. Равным образом ни я, ни Дуня ни полслова еще не говорили с ним о крепкой надежде нашей, что он поможет нам способствовать тебе деньгами, пока ты в университете; потому не говорили, что, во-первых, это и само собой делается впоследствии, и он, наверно, без лишних слов, сам предложит (еще бы он в этом-то отказал Дунечке) тем скорее, что ты и сам можешь стать его правой рукой по конторе и получать эту помощь не в виде благодеяния, а в виде заслуженного тобою жалованья. Так хочет устроить Дунечка, и я с нею вполне согласна. Во-вторых же, потому не говорили, что мне особенно хотелось поставить тебя с ним, при предстоящей теперешней встрече нашей, на ровной ноге. Когда Дуня говорила ему о тебе с восторгом, он отвечал, что всякого человека нужно сначала осмотреть самому и поближе, чтоб о нем судить, и что он сам предоставляет себе, познакомясь с тобой, составить о тебе свое мнение. Знаешь что, бесценный мой Родя, мне кажется, по некоторым соображениям (впрочем, отнюдь не относящимся к Петру Петровичу, а так, по некоторым моим собственным, личным, даже, может быть, старушечьим, бабьим капризам), – мне кажется, что я, может быть, лучше сделаю, если буду жить после их брака особо, как и теперь живу, а не вместе с ними. Я уверена вполне, что он будет так благороден и деликатен, что сам пригласит меня и предложит мне не разлучаться более с дочерью, и если еще не говорил до сих пор, то, разумеется, потому что и без слов так предполагается; но я откажусь. Я замечала в жизни не раз, что тещи не очень-то бывают мужьям по сердцу, а я не только не хочу быть хоть кому-нибудь даже в малейшую тягость, но и сама хочу быть вполне свободною, покамест у меня хоть какой-нибудь свой кусок да такие дети, как ты и Дунечка. Если возможно, то поселюсь подле вас обоих, потому что, Родя, самое-то приятное я прибегла к концу письма: узнай же, милый друг мой, что, может быть, очень скоро мы сойдемся все вместе опять и обнимемся все трое после почти трехлетней разлуки! Уже *наверно* решено, что я и Дуня выезжаем в Петербург, когда именно, не знаю, но, во всяком случае, очень, очень скоро, даже, может быть, через неделю. Все зависит от распоряжений Петра Петровича, который, как только осмотрится в Петербурге, тотчас же и даст нам знать. Ему хочется, по некоторым расчетам, как можно поспешить церемонией брака и даже, если возможно будет, сыграть свадьбу в теперешний же мясоед, а если не удастся, по краткости срока, то тотчас же после госпожинок. О, с каким счастьем прижму я тебя к моему сердцу! Дуня вся в волнении от радости свидания с тобой, и сказала раз, в шутку, что уже из этого одного пошла бы за Петра Петровича. Ангел она! Она теперь ничего тебе не приписывает, а велела только мне написать, что ей так много надо говорить с тобой, так много, что теперь у ней и рука не поднимается взяться за перо, потому что в нескольких строках ничего не напишешь, а только себя расстроишь; велела же тебя обнять крепче и переслать тебе бесчисленно поцелуев. Но, несмотря на то, что мы, может быть, очень скоро сами сойдемся лично, я все-таки тебе на днях вышлю денег, сколько могу больше. Теперь, как узнали все, что Дунечка выходит за Петра Петровича, и мой кредит вдруг увеличился, и я наверно знаю, что Афанасий Иванович поверит мне теперь, в счет пенсионера, даже до семидесяти пяти рублей, так что я тебе, может быть, рублей двадцать

пять или даже тридцать пришлю. Прислала бы и больше, но боюсь за наши расходы дорожные; и хотя Петр Петрович был так добр, что взял на себя часть издержек по нашему проезду в столицу, а именно, сам вызвался, на свой счет, доставить нашу поклажу и большой сундук (как-то у него там через знакомых), но все-таки нам надо рассчитывать и на приезд в Петербург, в который нельзя показаться без гроша, хоть на первые дни. Мы, впрочем, уже все рассчитали с Дунечкой до точности, и вышло, что дорога возьмет немного. До железной дороги от нас всего только девяносто верст, и мы уже, на всякий случай, сговорились с одним знакомым нам мужичком-извозчиком; а там мы с Дунечкой прелюбополучно прокатимся в третьем классе. Так что, может быть, я тебе не двадцать пять, а, наверно, тридцать рублей изловчусь выслать. Но довольно; два листа кругом уписала, и места уж больше не остается; целая наша история; ну да и происшествий-то сколько накопилось! А теперь, бесценный мой Родя, обнимаю тебя до близкого свидания нашего и благословляю тебя материнским благословением моим. Люби Дуню, свою сестру, Родя; люби так, как она тебя любит, и знай, что она тебя беспредельно, больше себя самой любит. Она ангел, а ты, Родя, ты у нас все – вся надежда наша и все упование. Был бы только ты счастлив, и мы будем счастливы. Молишься ли ты Богу, Родя, по-прежнему и веришь ли в благодать Творца и Искупителя нашего? Боюсь я, в сердце своем, не посетило ли и тебя новейшее модное безверие? Если так, то я за тебя молюсь. Вспомни, милый, как еще в детстве своем, при жизни твоего отца, ты лепетал молитвы свои у меня на коленях и как мы все тогда были счастливы! Прощай или, лучше, *до свидания!* Обнимаю тебя крепко-крепко и целую бессчетно.

*Твоя до гроба
Пульхерия Раскольников.*

Почти все время как читал Раскольников, с самого начала письма, лицо его было мокро от слез; но когда он кончил, оно было бледно, искривлено судорогой, и тяжелая, желчная, злая улыбка змеилась по его губам. Он прилег головой на свою тощую и затасканную подушку и думал, долго думал. Сильно билось его сердце, и сильно волновались его мысли. Наконец ему стало душно и тесно в этой желтой каморке, похожей на шкаф или на сундук. Взор и мысль просили простору. Он схватил шляпу и вышел, на этот раз уже не опасаясь с кем-нибудь встретиться на лестнице; забыл он об этом. Путь же взял он по направлению к Васильевскому острову через В – й проспект, как будто торопясь туда за делом, но, по обыкновению своему, шел, не замечая дороги, шепча про себя и даже говоря вслух с собою, чем очень удивлял прохожих. Многие принимали его за пьяного.

IV

Письмо матери его измучило. Но относительно главнейшего, капитального пункта сомнений в нем не было ни на минуту, даже в то еще время, как он читал письмо. Главнейшая суть дела была решена в его голове и решена окончательно: «Не бывать этому браку, пока я жив, и к черту господина Лужина!»

«Потому что это дело очевидное, – бормотал он про себя, ухмыляясь и злобно торжествуя заранее успех своего решения. – Нет, мамаша, нет, Дуня, не обмануть меня вам!.. И еще извиняются, что моего совета не попросили и без меня дело решили! Еще бы! Думают, что теперь уж и разорвать нельзя; а посмотрим, лъзя или нельзя! Отговорка-то какая капитальная: «уж такой, дескать, деловой человек Петр Петрович, такой деловой человек, что и жениться-то иначе не может, как на почтовых, чуть не на железной дороге». Нет, Дунечка, все вижу и знаю, о чем ты со мной *много-то* говорить собираешься; знаю и то, о чем ты всю ночь продумала, ходя по комнате, и о чем молилась перед Казанскою Божией Матерью, которая у мамашы в

спальне стоит. На Голгофу-то тяжело всходить. Гм... Так, значит, решено уж окончательно: за делового и рационального человека изволите выходить, Авдотья Романовна, имеющего свой капитал (*уже* имеющего свой капитал, это солиднее, внушительнее), служащего в двух местах и разделяющего убеждения новейших наших поколений (как пишет мамаша) и, «*кажется*, доброго», как замечает сама Дунечка. Это *кажется* всего великолепно! И эта же Дунечка за это же *кажется* замуж идет!.. Великолепно! Великолепно!..

...А любопытно, однако ж, для чего мамаша о «*новейших-то* поколениях» мне написала? Просто ли для характеристики лица или с дальнейшею целью: задобрить меня в пользу господина Лужина? О хитрые! Любопытно бы разьяснить еще одно обстоятельство: до какой степени они обе были откровенны друг с дружкой, в тот день и в ту ночь, и во все последующее время? Все ли *слова* между ними были прямо произнесены, или обе поняли, что у той и у другой одно в сердце и в мыслях, так уж нечего вслух-то всего выговаривать да напрасно проговариваться. Вероятно, оно так отчасти и было; по письму видно: мамаше он показался резок, *немножко*, а наивная мамаша и полезла к Дуне с своими замечаниями. А та, разумеется, рассердилась и «отвечала с досадой». Еще бы! Кого не взбесит, когда дело понятно и без наивных вопросов и когда решено, что уж нечего говорить. И что это она пишет мне: «Люби Дуню, Родя, а она тебя больше себя самой любит»; уж не угрызения ли совести ее самое втайне мучат за то, что дочерью сыну согласилась пожертвовать. «Ты наше упование, ты наше все!» О мамаша!..» Злоба накипала в нем все сильнее и сильнее, и если бы теперь встретился с ним господин Лужин, он, кажется, убил бы его!

«Гм, это правда, – продолжал он, следуя за вихрем мыслей, крутившимся в его голове, – это правда, что к человеку надо «подходить постепенно и осторожно, чтобы разузнать его»; но господин Лужин ясен. Главное, «человек деловой и, *кажется*, добрый»: шутка ли, поклажу взял на себя, большой сундук на свой счет доставляет! Ну как же не добрый? А они-то обе, *невеста* и мать, мужичка подряжают, в телеге, рогожею крытой (я ведь так ездal)! Ничего! Только ведь девяносто верст, «а там преблагополучно прокатимся в третьем классе», верст тысячу. И благоразумно: по одежке протягивай ножки; да вы-то, господин Лужин, чего же? Ведь это ваша невеста... И не могли же вы не знать, что мать под свой пенсион на дорогу вперед занимает? Конечно, тут у вас общий коммерческий оборот, предприятие на обоюдных выгодах и на равных паях, значит, и расходы пополам; хлеб-соль вместе, а табачок врозь, по пословице. Да и тут деловой-то человек их поднадул немножко: поклажа-то стоит дешевле ихнего проезда, а пожалуй, что и задаром пойдет. Что ж они обе не видят, что ль, этого аль нарочно не замечают? И ведь довольны, довольны! И как подумать, что это только цветочки, а настоящие фрукты впереди! Ведь тут что важно: тут не скупость, не скалдырничество важно, а *тон* всего этого. Ведь это будущий тон после брака, пророчество... Да и мамаша-то чего ж, однако, кутит? С чем она в Петербург-то явится? С тремя целковыми аль с двумя «билетиками», как говорит та... старуха... гм! Чем же жить-то в Петербурге она надеется потом-то? Ведь она уже по каким-то причинам успела догадаться, что ей с Дуней *нельзя* будет вместе жить после брака, даже и в первое время? Милый-то человек, наверно, как-нибудь тут *проговорился*, дал себя знать, хоть мамаша и отмахивается обеими руками от этого: «Сама, дескать, откажусь». Что ж она, на кого же надеется: на сто двадцать рублей пенсион, с вычетом на долг Афанасию Ивановичу? Косыночки она там зимние вяжет, да нарукавнички вышивает, глаза свои старые портит. Да ведь косыночки всего только двадцать рублей в год прибавляют к ста двадцати-то рублям, это мне известно. Значит, все-таки на благородство чувств господина Лужина надеются: «Сам, дескать, предложит, спрашивать будет». Держи карман! И так-то вот всегда у этих шиллеровских прекрасных душ бывает: до последнего момента рядят человека в павлиньи перья, до последнего момента на добро, а не на худо надеются; и хоть предчувствуют оборот медали, но ни за что себе заранее настоящего слова не выговарят; коробит их от одного помышления; обеими руками от правды отмахиваются, до тех самых пор, пока разукрашенный человек им

собственноручно нос не налепит. А любопытно, есть ли у господина Лужина ордена; об заклад бьюсь, что Анна в петлице есть и что он ее на обеды у подрядчиков и у купцов надевает. Пожалуй, и на свадьбу свою наденет! А впрочем, черт с ним!..

...Ну да уж пусть мамаша, уж Бог с ней, она уж такая, но Дуня-то что? Дунечка, милая, ведь я знаю вас! Ведь вам уже двадцатый год был тогда, как последний-то раз мы виделись: характер-то ваш я уже понял. Мамаша вон пишет, что «Дунечка многое может снести». Это я знал-с. Это я два с половиной года назад уже знал и с тех пор два с половиной года об этом думал, об этом именно, что «Дунечка многое может снести». Уж когда господина Свидригайлова, со всеми последствиями, может снести, значит, действительно, многое может снести. А теперь вот вообразили, вместе с мамашей, что и господина Лужина можно снести, излагающего теорию о преимуществе жен, взятых из нищеты и облагодетельствованных мужьями, да еще излагающего чуть не при первом свидании. Ну да положим, он «проговорился», хоть и рациональный человек (так что, может быть, и вовсе не проговорился, а именно в виду имел поскорее разъяснить), но Дуня-то, Дуня? Ведь ей человек-то ясен, а ведь жить-то с человеком. Ведь она хлеб черный один будет есть да водой запивать, а уж душу свою не продаст, а уж нравственную свободу свою не отдаст за комфорт; за весь Шлезвиг-Гольштейн не отдаст, не то что за господин Лужина. Нет, Дуня не та была, сколько я знал, и... ну да уж, конечно, не изменилась и теперь!.. Что говорить! Тяжелы Свидригайловы! Тяжело за двести рублей всю жизнь в гувернантках по губерниям шляться, но я все-таки знаю, что сестра моя скорее в негры пойдет к плантатору или в латыши к остзейскому немцу, чем оподлит дух свой и нравственное чувство свое связью с человеком, которого не уважает и с которым ей нечего делать, – навеки, из одной своей личной выгоды! И будь даже господин Лужин весь из одного чистейшего золота или из цельного бриллианта, и тогда не согласится стать законною наложницей господина Лужина! Почему же теперь соглашается? В чем же штука-то? В чем же разгадка-то? Дело ясное: для себя, для комфорта своего, даже для спасения себя от смерти, себя не продаст, а для другого вот и продает! Для милого, для обожаемого человека продаст! Вот в чем вся наша штука-то и состоит: за брата, за мать продаст! все продаст! О, тут мы, при случае, и нравственное чувство наше придавим; свободу, спокойствие, даже совесть, все, все на толкучий рынок снесем. Пропадай жизнь! Только бы эти возлюбленные существа наши были счастливы. Мало того, свою собственную казуистику выдумаем, у иезуитов научимся и на время, пожалуй, и себя самих успокоим, убедим себя, что так надо, действительно надо для доброй цели. Таковы-то мы и есть, и все ясно как день. Ясно, что тут не кто иной, как Родион Романович Раскольников в ходу и на первом плане стоит. Ну как же-с, счастье его может устроить, в университете содержать, компаньоном сделать в конторе, всю судьбу его обеспечить; пожалуй, богачом впоследствии будет, почетным, уважаемым, а может быть, даже славным человеком окончит жизнь! А мать? Да ведь тут Родя, бесценный Родя, первенец! Ну как для такого первенца хотя бы и такую дочь не пожертвовать! О милые и несправедливые сердца! Да чего: тут мы и от Сонечкина жребия, пожалуй что, не откажемся! Сонечка, Сонечка Мармеладова, вечная Сонечка, пока мир стоит! Жертву-то, жертву-то обе вы измерили ли вполне? Так ли? Под силу ли? В пользу ли? Разумно ли? Знаете ли вы, Дунечка, что Сонечкин жребий ничем не сквернее жребия с господином Лужиным? «Любви тут не может быть», – пишет мамаша. А что, если, кроме любви-то, и уважения не может быть, а напротив, уже есть отвращение, презрение, омерзение, что же тогда? А и выходит тогда, что опять, стало быть, «чистоту наблюдать» придется. Не так, что ли? Понимаете ли, понимаете ли вы, что значит сия чистота? Понимаете ли вы, что лужинская чистота все равно, что и Сонечкина чистота, а может быть, даже и хуже, гаже, подлее, потому что у вас, Дунечка, все-таки на излишек комфорта расчет, а там просто-запросто о голодной смерти дело идет! «Дорого, дорого стоит, Дунечка, сия чистота!» Ну, если потом не под силу станет, раскаетесь? Скорби-то сколько, грусти, проклятий, слез-то, скрывааемых ото всех, сколько, потому что не Марфа же вы Петровна? А с матерью что тогда будет? Ведь

она уж и теперь беспокойна, мучается; а тогда, когда все ясно увидит? А со мной?.. Да что же вы в самом деле обо мне-то подумали? Не хочу я вашей жертвы, Дунечка, не хочу, мамаша! Не бывать тому, пока я жив, не бывать, не бывать! Не принимаю!» Он вдруг очнулся и остановился.

«Не бывать? А что же ты сделаешь, чтоб этому не бывать? Запретишь? А право какое имеешь? Что ты им можешь обещать в свою очередь, чтобы право такое иметь? Всю судьбу свою, всю будущность им посвятить, *когда кончишь курс и место достанешь?* Слышали мы это, да ведь это *буки*, а теперь? Ведь тут надо теперь же что-нибудь сделать, понимаешь ты это? А ты что теперь делаешь? Обираешь их же. Ведь деньги-то им под сторублевый пенсион да под господ Свидригайловых под заклад достаются! От Свидригайловых-то, от Афанасия-то Ивановича Бахрушина чем ты их убережешь, миллионер будущий, Зевес, их судьбою располагающий? Через десять-то лет? Да в десять-то лет мать успеет ослепнуть от косынок, а пожалуй что и от слез; от поста исчахнет; а сестра? Ну, придумай-ка, что может быть с сестрой через десять лет али в эти десять лет? Догадался?»

Так мучил он себя и поддразнивал этими вопросами, даже с каким-то наслаждением. Впрочем, все эти вопросы были не новые, не внезапные, а старые, наболевшие, давнишние. Давно уже как они начали его терзать и истерзали ему сердце. Давным-давно как зародилась в нем вся эта теперешняя тоска, нарастала, накоплялась и в последнее время созрела и концентрировалась, приняв форму ужасного, дикого и фантастического вопроса, который замучил его сердце и ум, неотразимо требуя разрешения. Теперь же письмо матери вдруг как громом в него ударило. Ясно, что теперь надо было не тосковать, не страдать пассивно, одними рассуждениями о том, что вопросы неразрешимы, а непременно что-нибудь сделать, и сейчас же, и поскорее. Во что бы то ни стало надо решиться, хоть на что-нибудь, или...

«Или отказаться от жизни совсем! – вскричал он вдруг в исступлении, – послушно принять судьбу, как она есть, раз навсегда, и задушить в себе все, отказавшись от всякого права действовать, жить и любить!»

«Понимаете ли, понимаете ли вы, милостивый государь, что значит, когда уже некуда больше идти? – вдруг припомнился ему вчерашний вопрос Мармеладова, – ибо надо, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти...»

Вдруг он вздрогнул: одна, тоже вчерашняя, мысль опять пронеслась в его голове. Но вздрогнул он не оттого, что пронеслась эта мысль. Он ведь знал, он *предчувствовал*, что она непременно «пронесется», и уже ждал ее; да и мысль эта была совсем не вчерашняя. Но разница была в том, что месяц назад, и даже вчера еще, она была только мечтой, а теперь... теперь явилась вдруг не мечтой, а в каком-то новом, грозном и совсем незнакомом ему виде, и он вдруг сам сознал это... Ему стукнуло в голову, и потемнело в глазах.

Он поспешно огляделся, он искал чего-то. Ему хотелось сесть, и он искал скамейку; проходил же он тогда по К – му бульвару. Скамейка виднелась впереди, шагах во ста. Он пошел сколько мог поскорее; но на пути случилось с ним одно маленькое приключение, которое на несколько минут привлекло к себе все его внимание.

Выглядывая скамейку, он заметил впереди себя, шагах в двадцати, идущую женщину, но сначала не остановил на ней никакого внимания, как и на всех мелькавших до сих пор перед ним предметах. Ему уже много раз случалось проходить, например, домой и совершенно не помнить дороги, по которой он шел, и он уже привык так ходить. Но в идущей женщине было что-то такое странное и, с первого же взгляда, бросающееся в глаза, что мало-помалу внимание его начало к ней приковываться – сначала нехотя и как бы с досадой, а потом все крепче и крепче. Ему вдруг захотелось понять, что именно в этой женщине такого странного? Во-первых, она, должно быть, девушка очень молоденькая, шла по такому зною простоволосая, без зонтика и без перчаток, как-то смешно размахивая руками. На ней было шелковое, из легкой материи («матерчатое») платьице, но тоже как-то очень чудно надетое, едва застегнутое

и сзади у талии, в самом начале юбки, разорванное; целый клочок отставал и висел болтаясь. Маленькая косыночка была накинута на обнаженную шею, но торчала как-то криво и боком. К довершению, девушка шла нетвердо, спотыкаясь и даже шатаясь во все стороны. Эта встреча возбудила наконец все внимание Раскольникова. Он сошелся с девушкой у самой скамейки, но, дойдя до скамьи, она так и повалилась на нее, в угол, закинула на спинку скамейки голову и закрыла глаза, по-видимому, от чрезвычайного утомления. Вглядевшись в нее, он тотчас же догадался, что она совсем была пьяна. Странно и дико было смотреть на такое явление. Он даже подумал, не ошибается ли он. Пред ним было чрезвычайно молоденькое личико, лет шестнадцати, даже, может быть, только пятнадцати, – маленькое, белокуренькое, хорошенькое, но все разгоревшееся и как будто припухшее. Девушка, кажется, очень мало уж понимала; одну ногу заложила за другую, причем выставила ее гораздо больше, чем следовало, и, по всем признакам, очень плохо сознавала, что она на улице.

Раскольников не сел и уйти не хотел, а стоял перед нею в недоумении. Этот бульвар и всегда стоит пустынный, теперь же, во втором часу и в такой зной, никого почти не было. И однако ж в стороне, шагах в пятнадцати, на краю бульвара, остановился один господин, которому, по всему видно было, очень бы хотелось тоже подойти к девочке с какими-то целями. Он тоже, вероятно, увидел ее издали и догонял, но ему помешал Раскольников. Он бросал на него злобные взгляды, стараясь, впрочем, чтобы тот их не заметил, и нетерпеливо ожидал своей очереди, когда досадный оборванец уйдет. Дело было понятное. Господин этот был лет тридцати, плотный, жирный, кровь с молоком, с розовыми губами и с усиками, и очень щеголевато одетый. Раскольников ужасно разозлился; ему вдруг захотелось как-нибудь оскорбить этого жирного франта. Он на минуту оставил девочку и подошел к господину.

– Эй вы, Свидригайлов! Вам чего тут надо? – крикнул он, сжимая кулаки и смеясь своими запенившимися от злости губами.

– Это что значит? – строго спросил господин, нахмутив брови и свысока удивившись.

– Убирайтесь, вот что!

– Как ты смеешь, каналья!..

И он взмахнул хлыстом. Раскольников бросился на него с кулаками, не рассчитав даже и того, что плотный господин мог управиться и с двумя такими, как он. Но в эту минуту кто-то крепко схватил его сзади, между ними стал городской.

– Полно, господа, не извольте драться в публичных местах. Вам чего надо? Кто таков? – строго обратился он к Раскольникову, разглядев его лохмотья.

Раскольников посмотрел на него внимательно. Это было бравое солдатское лицо с седыми усами и бакенами и с толковым взглядом.

– Вас-то мне и надо, – крикнул он, хватая его за руку. – Я бывший студент, Раскольников... Это и вам можно узнать, – обратился он к господину, – а вы пойдете-ка, я вам что-то покажу...

И, схватив городского за руку, он потащил его к скамейке.

– Вот, смотрите, совсем пьяная, сейчас шла по бульвару: кто ее знает, из каких, а не похоже, чтоб по ремеслу. Вернее же всего где-нибудь напоили и обманули... в первый раз... понимаете? да так и пустили на улицу. Посмотрите, как разорвано платье, посмотрите, как оно надето: ведь ее одевали, а не сама она одевалась, да и одевали-то неумелые руки, мужские. Это видно. А вот теперь смотрите сюда: этот франт, с которым я сейчас драться хотел, мне незнаком, первый раз вижу; но он ее тоже отметил дорогой, сейчас, пьяную-то, себя-то не помнящую, и ему ужасно теперь хочется подойти и перехватить ее, – так как она в таком состоянии, – завести куда-нибудь... И уж это наверно так; уж поверьте, что я не ошибаюсь. Я сам видел, как он за нею наблюдал и следил, только я ему помешал, и он теперь все ждет, когда я уйду. Вон он теперь отошел маленько, стоит, будто папироску свертывает... Как бы нам ему не дать? Как бы нам ее домой отправить, – подумайте-ка!

Городовой мигом все понял и сообразил. Толстый господин был, конечно, понятен, оставалась девочка. Служивый нагнулся над нею разглядеть поближе, и искреннее сострадание изобразилось в его чертах.

– Ах, жаль-то как! – сказал он, качая головой, – совсем еще как ребенок. Обманули, это как раз. Послушайте, сударыня, – начал он звать ее, – где изволите проживать? – Девушка открыла усталые и посоловелые глаза, тупо посмотрела на допрашивающих и отмахнулась рукой.

– Послушайте, – сказал Раскольников, – вот (он пошарил в кармане и вытащил двадцать копеек; нашлись), вот, возьмите извозчика и велите ему доставить по адресу. Только бы адрес-то нам узнать!

– Барышня, а барышня? – начал опять городовой, приняв деньги, – я сейчас извозчика вам возьму и сам вас препровожу. Куда прикажете? а? Где изволите квартировать?

– Пшла!.. пристають!.. – пробормотала девочка и опять отмахнулась рукой.

– Ах, ах как нехорошо! Ах, стыдно-то как, барышня, стыд-то какой! – Он опять закачал головой, стыдя, сожалея и негодуя. – Ведь вот задача! – обратился он к Раскольникову и тут же, мельком, опять оглядел его с ног до головы. Странен, верно, и он ему показался: в таких лохмотьях, а сам деньги выдает!

– Вы далеко ль отсюда их нашли? – спросил он его.

– Говорю вам: впереди меня шла, шатаясь, тут же на бульваре. Как до скамейки дошла, так и повалилась.

– Ах, стыд-то какой теперь завелся на свете, господи! Этакая немудреная, и уж пьяная! Обманули, это как есть! Вон и платице ихнее разорвано... Ах как разврат-то ноне пошел!.. А пожалуй, что из благородных будет, из бедных каких... Ноне много таких пошло. Но виду-то как бы из нежных, словно ведь барышня, – и он опять нагнулся над ней.

Может, и у него росли такие же дочки – «словно как барышни и из нежных», с замашками благовоспитанных и со всяким перенятым уже модничаньем...

– Главное, – хлопотал Раскольников, – вот этому подлецу как бы не дать! Ну что ж он еще над ней надругается! Наизусть видно, чего ему хочется; ишь подлец, не отходит!

Раскольников говорил громко и указывал на него прямо рукой. Тот услышал и хотел было опять рассердиться, но одумался и ограничился одним презрительным взглядом. Затем медленно отошел еще шагов десять и опять остановился.

– Не дать-то им это можно-с, – отвечал унтер-офицер в раздумье. – Вот кабы они сказали, куда их предоставить, а то... Барышня, а барышня! – нагнулся он снова.

Та вдруг совсем открыла глаза, посмотрела внимательно, как будто поняла что-то такое, встала со скамейки и пошла обратно в ту сторону, откуда пришла.

– Фу, бесстыдники, пристають! – проговорила она, еще раз отмахнувшись. Пошла она скоро, но по-прежнему сильно шатаясь. Франт пошел за нею, но по другой аллее, не спуская с нее глаз.

– Не беспокойтесь, не дам-с, – решительно сказал усач и отправился вслед за ними.

– Эх, разврат-то как ноне пошел! – повторил он вслух, вздыхая.

В эту минуту как будто что-то ужалило Раскольникова; в один миг его как будто перевернуло.

– Послушайте, эй! – закричал он вслед усачу.

Тот оборотился.

– Оставьте! Чего вам? Бросьте! Пусть его позабавится (он указал на франта). Вам-то чего?

Городовой не понимал и смотрел во все глаза. Раскольников засмеялся.

– Э-эх! – проговорил служивый, махнув рукой, и пошел вслед за франтом и за девочкой, вероятно приняв Раскольникова иль за помешанного, или за что-нибудь еще хуже.

«Двадцать копеек мои унес, – злобно проговорил Раскольников, оставшись один. – Ну пусть и с того тоже возьмет да и отпустит с ним девочку, тем и кончится... И чего я ввязался тут помогать! Ну мне ль помогать? Имею ль я право помогать? Да пусть их переглодают друг друга живьем – мне-то чего? И как я смел отдать эти двадцать копеек. Разве они мои?»

Несмотря на эти странные слова, ему стало очень тяжело. Он присел на оставленную скамью. Мысли его были рассеянны... Да и вообще тяжело ему было думать в эту минуту о чем бы то ни было. Он бы хотел совсем забыться, все забыть, потом проснуться и начать совсем сызнова...

«Бедная девочка!.. – сказал он, посмотрев в опустевший угол скамьи. – Очнется, поплачет, потом мать узнает... Сначала прибьет, а потом высечет, больно и с позором, пожалуй, и сгонит... А не сгонит, так все-таки пронюхают Дарьи Францевны, и начнет шмыгать моя девочка, туда да сюда... Потом тотчас больница (и это всегда у тех, которые у матерей живут очень честных и тихонько от них пошаливают), ну а там... а там опять больница... вино... кабаки... и еще больница... года через два-три – калека, итого житья ее девятнадцать аль восемнадцать лет от роду всего-с... Разве я таких не видал? А как они делались? Да вот все так и делались... Тьфу! А пусть! Это, говорят, так и следует. Такой процент, говорят, должен уходить каждый год... куда-то... к черту, должно быть, чтоб остальных освежать и им не мешать. Процент! Славные, право, у них эти словечки: они такие успокоительные, научные. Сказано: процент, стало быть, и тревожиться нечего. Вот если бы другое слово, ну тогда... было бы, может быть, спокойнее... А что, коль и Дунечка как-нибудь в процент попадет!.. Не в тот, так в другой?..

А куда ж я иду? – подумал он вдруг. – Странно. Ведь я зачем-то пошел. Как письмо прочел, так и пошел... На Васильевский остров, к Разумихину я пошел, вот куда, теперь... помню. Да зачем, однако же? И каким образом мысль идти к Разумихину залетела мне именно теперь в голову? Это замечательно».

Он дивился себе. Разумихин был один из его прежних товарищей по университету. Замечательно, что Раскольников, быв в университете, почти не имел товарищей, всех чуждался, ни к кому не ходил и у себя принимал тяжело. Впрочем, и от него скоро все отвернулись. Ни в общих сходках, ни в разговорах, ни в забавах, ни в чем он как-то не принимал участия. Занимался он усиленно, не жалея себя, и за это его уважали, но никто не любил. Был он очень беден и как-то надменно горд и несообщителен; как будто что-то таил про себя. Иным товарищам его казалось, что он смотрит на них на всех, как на детей, свысока, как будто он всех их опередил и развитием, и знанием, и убеждениями, и что на их убеждения и интересы он смотрит как на что-то низшее.

С Разумихиным же он почему-то сошелся, то есть не то что сошелся, а был с ним общительнее, откровеннее. Впрочем, с Разумихиным невозможно было и быть в других отношениях. Это был необыкновенно веселый и общительный парень, добрый до простоты. Впрочем, под этою простотою таились и глубина, и достоинство. Лучшие из его товарищей понимали это, все любили его. Был он очень неглуп, хотя и действительно иногда простоват. Наружность его была выразительная – высокий, худой, всегда худо выбритый, черноволосый. Иногда он буянил и слыл за силача. Однажды ночью, в компании, он одним ударом ссадил одного блюстителя вершков двенадцати росту. Пить он мог до бесконечности, но мог и совсем не пить; иногда проказил даже непозволительно, но мог и совсем не проказить. Разумихин был еще тем замечателен, что никакие неудачи его никогда не смущали и никакие дурные обстоятельства, казалось, не могли придавить его. Он мог квартировать хоть на крыше, терпеть адский голод и необыкновенный холод. Был он очень беден и решительно сам, один, содержал себя, добывая кой-какими работами деньги. Он знал бездну источников, где мог почерпнуть, разумеется, заработком. Однажды он целую зиму совсем не топил своей комнаты и утверждал, что это даже приятнее, потому что в холоде лучше спится. В настоящее время он тоже принужден был

выйти из университета, но ненадолго, и из всех сил спешил поправить обстоятельства, чтобы можно было продолжать. Раскольников не был у него уже месяца четыре, а Разумихин и не знал даже его квартиры. Раз как-то, месяца два тому назад, они было встретились на улице, но Раскольников отвернулся и даже перешел на другую сторону, чтобы тот его не заметил. А Разумихин хоть и заметил, но прошел мимо, не желая тревожить *приятеля*.

V

«Действительно, я у Разумихина недавно еще хотел было работы просить, чтоб он мне или уроки достал, или что-нибудь... – додумывался Раскольников, – но чем теперь-то он мне может помочь? Положим, уроки достанет, положим, даже последнею копейкой поделится, если есть у него копейка, так что можно даже и сапоги купить, и костюм поправить, чтобы на уроки ходить... гм... Ну, а дальше? На пятаки-то что ж я сделаю? Мне разве того теперь надобно? Право, смешно, что я пошел к Разумихину...»

Вопрос, почему он пошел теперь к Разумихину, тревожил его больше, чем даже ему самому казалось; с беспокойством отыскивал он какой-то зловеший для себя смысл в этом, казалось бы, самом обыкновенном поступке.

«Что ж, неужели я все дело хотел поправить одним Разумихиным и всему исход нашел в Разумихине?» – спрашивал он себя с удивлением.

Он думал и тер себе лоб, и, странное дело, как-то невзначай, вдруг и почти сама собой, после очень долгого раздумья, пришла ему в голову одна престранная мысль.

«Гм... к Разумихину, – проговорил он вдруг совершенно спокойно, как бы в смысле окончательного решения, – к Разумихину я пойду, это конечно... но – не теперь... Я к нему... на другой день, после *того* пойду, когда уже *то* будет кончено и когда все по-новому пойдет...»

И вдруг он опомнился.

«После *того*, – вскрикнул он, срываясь со скамейки, – да разве *то* будет? Неужели в самом деле будет?»

Он бросил скамейку и пошел, почти побежал; он хотел было повернуть назад, к дому, но домой идти ему стало вдруг ужасно противно: там-то, в углу, в этом-то ужасном шкафу и созревало все *это* вот уже более месяца, и он пошел куда глаза глядят.

Нервная дрожь его перешла в какую-то лихорадочную; он чувствовал даже озноб; на такой жаре ему становилось холодно. Как бы с усилием начал он, почти бессознательно, по какой-то внутренней необходимости, всматриваться во все встречавшиеся предметы, как будто ища усиленно развлечения, но это плохо удавалось ему, и он поминутно впадал в задумчивость. Когда же опять, вздрагивая, поднимал голову и оглядывался кругом, то тотчас же забывал, о чем сейчас думал и даже где проходил. Таким образом прошел он весь Васильевский остров, вышел на Малую Неву, перешел мост и повернул на Острова. Зелень и свежесть понравились сначала его усталым глазам, привыкшим к городской пыли, к известке и к громадным, теснящим и давящим домам. Тут не было ни духоты, ни вони, ни распивочных. Но скоро и эти новые, приятные ощущения перешли в болезненные и раздражающие. Иногда он останавливался перед какою-нибудь изукрашенной в зелени дачей, смотрел в ограду, видел вдаль, на балконах и на террасах, разряженных женщин и бегающих в саду детей. Особенно занимали его цветы; он на них всего дольше смотрел. Встречались ему тоже пышные коляски, наездники и наездницы; он провожал их с любопытством глазами и забывал о них прежде, чем они скрывались из глаз. Раз он остановился и пересчитал свои деньги: оказалось около тридцати копеек. «Двадцать городовому, три Настасье за письмо, – значит, Мармеладовым дал вчера копеек сорок семь али пятьдесят», – подумал он, для чего-то рассчитывая, но скоро забыл даже, для чего и деньги вытащил из кармана. Он вспомнил об этом, проходя мимо одного съестного заведения, вроде харчевни, и почувствовал, что ему хочется есть. Войдя в харчевню, он выпил

рюмку водки и съел с какою-то начинкой пирог. Доел он его опять на дороге. Он очень давно не пил водки, и она мигом подействовала, хотя выпита была всего одна рюмка. Ноги его вдруг отяжелели, и он начал чувствовать сильный позыв ко сну. Он пошел домой; но дойдя уже до Петровского острова, остановился в полном изнеможении, сошел с дороги, вошел в кусты, пал на траву и в ту же минуту заснул.

В болезненном состоянии сны отличаются часто необыкновенною выпуклостью, яркостью и чрезвычайным сходством с действительностью. Слагается иногда картина чудовищная, но обстановка и весь процесс всего представления бывают при этом до того вероятны и с такими тонкими, неожиданными, но художественно соответствующими всей полноте картины подробностями, что их и не выдумать наяву этому же самому сновидцу, будь он такой же художник, как Пушкин или Тургенев. Такие сны, болезненные сны, всегда долго помнятся и производят сильное впечатление на расстроенный и уже возбужденный организм человека.

Страшный сон приснился Раскольникову. Приснилось ему его детство, еще в их городке. Он лет семи и гуляет в праздничный день, под вечер, с своим отцом за городом. Время серенькое, день удушливый, местность совершенно такая же, как уцелела в его памяти: даже в памяти его она гораздо более изгладилась, чем представлялась теперь во сне. Городок стоит открыто, как на ладони, кругом ни ветлы; где-то очень далеко, на самом краю неба, чернеется лесок. В нескольких шагах от последнего городского огорода стоит кабак, большой кабак, всегда производивший на него неприятнейшее впечатление и даже страх, когда он проходил мимо его, гуляя с отцом. Там всегда была такая толпа, так орали, хохотали, ругались, так безобразно и сипло пели и так часто дрались; кругом кабака шлялись всегда такие пьяные и страшные рожи... Встречаясь с ними, он тесно прижимался к отцу и весь дрожал. Возле кабака дорога, проселок, всегда пыльная, и пыль на ней всегда такая черная. Идет она, извиваясь, далее и шагах в трехстах огибает вправо городское кладбище. Среди кладбища каменная церковь с зеленым куполом, в которую он раза два в год ходил с отцом и с матерью к обедне, когда служились панихиды по его бабушке, умершей уже давно, и которую он никогда не видал. При этом всегда они брали с собою кутью на белом блюде, в салфетке, а кутья была сахарная из рису и изюму, вдавленного в рис крестом. Он любил эту церковь и старинные в ней образа, большею частью без окладов, и старого священника с дрожашею головой. Подле бабушкиной могилы, на которой была плита, была и маленькая могилка его меньшого брата, умершего шести месяцев и которого он тоже совсем не знал и не мог помнить; но ему сказали, что у него был маленький брат, и он каждый раз, как посещал кладбище, религиозно и почтительно крестился над могилкой, кланялся ей и целовал ее. И вот снится ему: они идут с отцом по дороге к кладбищу и проходят мимо кабака; он держит отца за руку и со страхом оглядывается на кабак. Особенное обстоятельство привлекает его внимание: на этот раз тут как будто гулянье, толпа разодетых мещанок, баб, их мужей и всякого сброду. Все пьяны, все поют песни, а подле кабачного крыльца стоит телега, но странная телега. Это одна из тех больших телег, в которые впрягают больших ломовых лошадей и перевозят в них товары и винные бочки. Он всегда любил смотреть на этих огромных ломовых коней, долгогривых, с толстыми ногами, идущих спокойно, мерным шагом и везущих за собою какую-нибудь целую гору, нисколько не надсаждаясь, как будто им с возами даже легче, чем без возов. Но теперь, странное дело, в большую такую телегу впряжена была маленькая, тощая, саврасая крестьянская клячонка, одна из тех, которые – он часто это видел – надрываются иной раз с высоким каким-нибудь возом дров или сена, особенно коли воз застрянет в грязи или в колее, и при этом их так больно, так больно бьют всегда мужики кнутами, иной раз даже по самой морде и по глазам, а ему так жалко, так жалко на это смотреть, что он чуть не плачет, а мамаша всегда, бывало, отводит его от окошка. Но вот вдруг становится очень шумно: из кабака выходят с криками, с песнями, с балалайками пьяные-препьяные большие такие мужики в красных и синих рубашках, с армяками внакидку. «Садись, все садись! – кричит один, еще молодой, с толстою такою шеей и с

мясистым, красным, как морковь, лицом, – всех доведу, садись!» Но тотчас же раздается смех и восклицанья: – Этака кляча да повезет!

– Да ты, Миколка, в уме, что ли: этаку кобыленку в таку телегу запрег!

– А ведь савраске-то беспременно лет двадцать уж будет, братцы!

– Садись, всех доведу! – опять кричит Миколка, прыгая первый в телегу, берет вожжи и становится на передке во весь рост. – Гнедой даве с Матвеем ушел, – кричит он с телеги, – а кобыленка эта, братцы, только сердце мое надрывает: так бы, кажись, ее и убил, даром хлеб ест. Говорю садись! Вскачь пуцу! Вскачь пойдет! – И он берет в руки кнут, с наслаждением готовясь сечь савраску.

– Да садись, чего! – хохочут в толпе. – Слышь, вскачь пойдет!

– Она вскачь-то уж десять лет, поди, не прыгала.

– Запрыгает!

– Не жалея, братцы, бери всяк кнуты, зготовляй!

– И то! Секи ее!

Все лезут в Миколкину телегу с хохотом и остротами. Налезло человек шесть, и еще можно посадить. Берут с собою одну бабу, толстую и румяную. Она в кумачах, в кичке с бисером, на ногах коты, щелкает орешки и посмеивается. Кругом в толпе тоже смеются, да и впрямь, как не смеяться: этака лядащая кобыленка да таку тягость вскачь везти будет! Два парня в телеге тотчас же берут по кнуту, чтобы помогать Миколке. Раздается: «ну!», клячонка дергает изо всей силы, но не только вскачь, а даже и шагом-то чуть-чуть может справиться, только семенит ногами, кряхтит и приседает от ударов трех кнутов, сыплющихся на нее, как горох. Смех в телеге и в толпе удваивается, но Миколка сердится и в ярости сечет учащенными ударами кобыленку, точно и впрямь полагает, что она вскачь пойдет.

– Пусти и меня, братцы! – кричит один разлакомившийся парень из толпы.

– Садись! Все садись! – кричит Миколка, – всех повезет. Засеку! – И хлещет, хлещет, и уже не знает, чем и бить от остервенения.

– Папочка, папочка, – кричит он отцу, – папочка, что они делают? Папочка, бедную лошадку бьют!

– Пойдем, пойдем! – говорит отец, – пьяные, шалят, дураки: пойдем, не смотри! – и хочет увести его, но он вырывается из его рук и, не помня себя, бежит к лошадке. Но уж бедной лошадке плохо. Она задыхается, останавливается, опять дергает, чуть не падает.

– Секи до смерти! – кричит Миколка, – на то пошло. Засеку!

– Да что на тебе креста, что ли, нет, леший! – кричит один старик из толпы.

– Видано ль, чтобы така лошаденка таку поклажу везла, – прибавляет другой.

– Заморишь! – кричит третий.

– Не трожь! Мое добро! Что хочу, то и делаю. Садись еще! Все садись! Хочу, чтобы беспременно вскачь пошла!..

Вдруг хохот раздается залпом и покрывает все: кобыленка не вынесла учащенных ударов и в бессилии начала лягаться. Даже старик не выдержал и усмехнулся. И впрямь: этака лядащая кобыленка, а еще лягается!

Два парня из толпы достают еще по кнуту и бегут к лошаденке сечь ее с боков. Каждый бежит с своей стороны.

– По морде ее, по глазам хлещи, по глазам! – кричит Миколка.

– Песню, братцы! – кричит кто-то с телеги, и все в телеге подхватывают. Раздается разгульная песня, брякает бубен, в припевах свист. Бабенка щелкает орешки и посмеивается.

...Он бежит подле лошадки, он забегает вперед, он видит, как ее секут по глазам, по самым глазам! Он плачет. Сердце в нем поднимается, слезы текут. Один из секущих задевает его по лицу; он не чувствует, он ломает свои руки, кричит, бросается к седому старику с седою бородой, который качает головой и осуждает все это. Одна баба берет его за руку и хочет

увести; но он вырывается и опять бежит к лошадке. Та уже при последних усилиях, но еще раз начинает лягаться.

– А чтобы те леший! – вскрикивает в ярости Миколка. Он бросает кнут, нагибается и вытаскивает со дна телеги длинную и толстую оглоблю, берет ее за конец в обе руки и с усилием размахивается над савраской.

– Разразит! – кричат кругом.

– Убьет!

– Мое добро! – кричит Миколка и со всего размаху опускает оглоблю. Раздается тяжелый удар.

– Секи ее, секи! Что стали! – кричат голоса из толпы.

А Миколка намахивается в другой раз, и другой удар со всего размаху ложится на спину несчастной клячи. Она вся оседает всем задом, но вспрыгивает и дергает, дергает из всех последних сил в разные стороны, чтобы вывезти; но со всех сторон принимают ее в шесть кнутов, а оглобля снова вздымается и падает в третий раз, потом в четвертый, мерно, с размаха. Миколка в бешенстве, что не может с одного удара убить.

– Живуча! – кричат кругом.

– Сейчас беспрременно падет, братцы, тут ей и конец! – кричит из толпы один любитель.

– Топором ее, чего! Покончить с ней разом, – кричит третий.

– Эх, ешь те комары! Расступись! – неистово вскрикивает Миколка, бросает оглоблю, снова нагибается в телегу и вытаскивает железный лом. – Берегись! – кричит он и что есть силы огорошивает с размаху свою бедную лошаddenку. Удар рухнул; кобыленка зашаталась, осела, хотела было дернуть, но лом снова со всего размаху ложится ей на спину, и она падает на землю, точно ей подсекли все четыре ноги разом.

– Добивай! – кричит Миколка и вскакивает, словно себя не помня, с телеги. Несколько парней, тоже красных и пьяных, схватывают что попало – кнуты, палки, оглоблю, и бегут к издыхающей кобыленке. Миколка становится сбоку и начинает бить ломом зря по спине. Кляча протягивает морду, тяжело вздыхает и умирает.

– Доконал! – кричат в толпе.

– А зачем вскачь не шла!

– Мое добро! – кричит Миколка, с ломом в руках и с налитыми кровью глазами. Он стоит будто жалея, что уж некого больше бить.

– Ну и впрямь, знать, креста на тебе нет! – кричат из толпы уже многие голоса.

Но бедный мальчик уже не помнит себя. С криком пробивается он сквозь толпу к савраске, обхватывает ее мертвую, окровавленную морду и целует ее, целует ее в глаза, в губы... Потом вдруг вскакивает и в исступлении бросается с своими кулачками на Миколку. В этот миг отец, уже долго гонявшийся за ним, схватывает его наконец и выносит из толпы.

– Пойдем! пойдем! – говорит он ему, – домой пойдем!

– Папочка! За что они... бедную лошаddenку... убили! – всхлипывает он, но дыханье ему захватывает, и слова криками вырываются из его стесненной груди.

– Пьяные, шалят, не наше дело, пойдем! – говорит отец. Он обхватывает отца руками, но грудь ему теснит, теснит. Он хочет перевести дыхание, вскрикнуть – и просыпается.

Он проснулся весь в поту, с мокрыми от поту волосами, задыхаясь, и приподнялся в ужасе.

«Слава Богу, это только сон! – сказал он, садясь под деревом и глубоко переводя дыхание. – Но что это? Уж не горячка ли во мне начинается: такой безобразный сон!»

Все тело его было как бы разбито; смутно и темно на душе. Он положил локти на колена и подпер обеими руками голову.

«Боже! – воскликнул он, – да неужели ж, неужели ж я в самом деле возьму топор, стану бить по голове, размозжу ей череп... буду скользить в липкой, теплой крови, взламывать замок, красть и дрожать; прятаться, весь залитый кровью... с топором... Господи, неужели?»

Он дрожал как лист, говоря это.

«Да что же это я! – продолжал он, восклоняясь опять и как бы в глубоком изумлении, – ведь я знал же, что я этого не вынесу, так чего ж я до сих пор себя мучил? Ведь еще вчера, вчера, когда я пошел делать эту... *пробу*, ведь я вчера же понял совершенно, что не вытерплю... Чего ж я теперь-то? Чего ж я еще до сих пор сомневался? Ведь вчера же, сходя с лестницы, я сам сказал, что это подло, гадко, низко, низко... ведь меня от одной мысли *наяву* стошнило и в ужас бросило...

Нет, я не вытерплю, не вытерплю! Пусть, пусть даже нет никаких сомнений во всех этих расчетах, будь это все, что решено в этот месяц, ясно как день, справедливо как арифметика. Господи! Ведь я все же равно не решусь! Я ведь не вытерплю, не вытерплю!.. Чего же, чего же и до сих пор...»

Он встал на ноги, в удивлении осмотрелся кругом, как бы дивясь и тому, что зашел сюда, и пошел на Т – в мост. Он был бледен, глаза его горели, изнеможение было во всех его членах, но ему вдруг стало дышать как бы легче. Он почувствовал, что уже сбросил с себя это страшное бремя, давившее его так долго, и на душе его стало вдруг легко и мирно. «Господи! – молил он, – покажи мне путь мой, а я отрекаюсь от этой проклятой... мечты моей!»

Проходя чрез мост, он тихо и спокойно смотрел на Неву, на яркий закат яркого, красного солнца. Несмотря на слабость свою, он даже не ощущал в себе усталости. Точно нарыв на сердце его, нарывавший весь месяц, вдруг прорвался. Свобода, свобода! Он свободен теперь от этих чар, от колдовства, обаяния, от наваждения!

Впоследствии, когда он припоминал это время и все, что случилось с ним в эти дни, минуту за минутой, пункт за пунктом, черту за чертой, его до суеверия поражало всегда одно обстоятельство, хотя, в сущности, и не очень необычайное, но которое постоянно казалось ему потом как бы каким-то предопределением судьбы его.

Именно: он никак не мог понять и объяснить себе, почему он, усталый, измученный, которому было бы всего выгоднее возвратиться домой самым кратчайшим и прямым путем, воротился домой через Сенную площадь, на которую ему было совсем лишнее идти. Крюк был небольшой, но очевидный и совершенно ненужный. Конечно, десятки раз случалось ему возвращаться домой, не помня улиц, по которым он шел. Но зачем же, спрашивал он всегда, зачем же такая важная, такая решительная для него и в то же время такая в высшей степени случайная встреча на Сенной (по которой даже и идти ему незачем) подошла как раз теперь к такому часу, к такой минуте в его жизни, именно к такому настроению его духа и к таким именно обстоятельствам, при которых только и могла она, эта встреча, произвести самое решительное и самое окончательное действие на всю судьбу его? Точно тут нарочно поджидала его!

Было около девяти часов, когда он проходил по Сенной. Все торговцы на столах, на лотках, в лавках и в лавочках запирали свои заведения или снимали и прибирали свой товар и расходились по домам, равно как и их покупатели. Около харчевен в нижних этажах, на грязных и вонючих дворах домов Сенной площади, а наиболее у распивочных, толпилось много разного и всякого сорта промышленников и лохмотников. Раскольников преимущественно любил эти места, равно как и все близлежащие переулки, когда выходил без цели на улицу. Тут лохмотья его не обращали на себя ничьего высокомерного внимания, и можно было ходить в каком угодно виде, никого не скандализируя. У самого К – ного переулка, на углу, мещанин и баба, жена его, торговали с двух столов товаром: нитками, тесемками, платками ситцевыми и т. п. Они тоже поднимались домой, но замешкались, разговаривая с подошедшею знакомой. Знакомая эта была Лизавета Ивановна, или просто, как все звали ее, Лизавета, младшая сестра той самой старухи Алены Ивановны, коллежской регистраторши и процентщицы, у которой вчера

был Раскольников, приходивший закладывать ей часы и делать свою *пробу*... Он давно уже знал все про эту Лизавету, и даже та его знала немного. Это была высокая, неуклюжая, робкая и смиренная девка, чуть не идиотка, тридцати пяти лет, бывшая в полном рабстве у сестры своей, работавшая на нее день и ночь, трепетавшая перед ней и терпевшая от нее даже побои. Она стояла в раздумье с узлом перед мещанином и бабой и внимательно слушала их. Те что-то ей с особенным жаром толковали. Когда Раскольников вдруг увидел ее, какое-то странное ощущение, похожее на глубочайшее изумление, охватило его, хотя во встрече этой не было ничего изумительного.

– Вы бы, Лизавета Ивановна, и порешили самолично, – громко говорил мещанин. – Приходите-тко завтра, часу в семом-с. И те придут.

– Завтра? – протяжно и задумчиво сказала Лизавета, как будто не решаясь.

– Эх ведь вам Алена-то Ивановна страху задала! – затараторила жена торговца, бойкая бабенка. – Посмотрю я на вас, совсем-то вы как робенок малый. И сестра она вам не родная, а сведенная, а вот какую волю взяла.

– Да вы на сей раз Алене Ивановне ничего не говорите-с, – перебил муж, – вот мой совет-с, а зайдите к нам не просясь. Оно дело выгодное-с. Потом и сестрица сами могут сообразить.

– Аль зайти?

– В семом часу, завтра; и от тех придут-с; самолично и порешитес.

– И самоварчик поставим, – прибавила жена.

– Хорошо, приду, – проговорила Лизавета, все еще раздумывая, и медленно стала с места трогаться.

Раскольников тут уже прошел и не слышал больше. Он проходил тихо, незаметно, стараясь не проронить ни единого слова. Первоначальное изумление его мало-помалу сменилось ужасом, как будто мороз прошел по спине его. Он узнал, он вдруг, внезапно и совершенно неожиданно узнал, что завтра, ровно в семь часов вечера, Лизаветы, старухиной сестры и единственной ее сожительницы, дома не будет и что, стало быть, старуха, ровно в семь часов вечера, *останется дома одна*. До его квартиры оставалось только несколько шагов. Он вошел к себе, как приговоренный к смерти. Ни о чем он не рассуждал и совершенно не мог рассуждать; но всем существом своим вдруг почувствовал, что нет у него более ни свободы рассудка, ни воли и что все вдруг решено окончательно.

Конечно, если бы даже целые годы приходилось ему ждать удобного случая, то и тогда, имея замысел, нельзя было рассчитывать наверное, на более очевидный шаг к успеху этого замысла, как тот, который представлялся вдруг сейчас. Во всяком случае, трудно было бы узнать накануне и на pewno, с большею точностью и с наименьшим риском, без всяких опасных расспросов и разыскиваний, что завтра, в таком-то часу, такая-то старуха, на которую готовится покушение, будет дома одна-одинехонька.

VI

Впоследствии Раскольникову случилось как-то узнать, зачем именно мещанин и баба приглашали к себе Лизавету. Дело было самое обыкновенное и не заключало в себе ничего такого особенного. Приезжее и забедневшее семейство продавало вещи, платье и проч., все женское. Так как на рынке продавать невыгодно, то и искали торговку, а Лизавета этим занималась: брала комиссии, ходила по делам и имела большую практику, потому что была очень честна и всегда говорила крайнюю цену: какую цену скажет, так тому и быть. Говорила же вообще мало, и как уже сказано, была такая смиренная и пугливая...

Но Раскольников в последнее время стал суеверен. Следы суеверия оставались в нем еще долго спустя, почти неизгладимо. И во всем этом деле он всегда потом склонен был видеть некоторую как бы странность, таинственность, как будто присутствие каких-то особых влия-

ний и совпадений. Еще зимой один знакомый ему студент, Покорев, уезжая в Харьков, сообщил ему как-то в разговоре адрес старухи Алены Ивановны, если бы на случай пришлось ему что заложить. Долго он не ходил к ней, потому что уроки были и как-нибудь да пробивался. Месяца полтора назад он вспомнил про адрес; у него были две вещи, годные к закладу: старые отцовские серебряные часы и маленькое золотое колечко с тремя какими-то красными камешками, подаренное ему при прощании сестрой, на память. Он решил отнести колечко; разыскав старуху, с первого же взгляда, еще ничего не зная о ней особенного, почувствовал к ней непреодолимое отвращение, взял у нее два «билетика» и по дороге зашел в один плохонький трактиришко. Он спросил чаю, сел и крепко задумался. Странная мысль наклеивалась в его голове, как из яйца цыпленок, и очень, очень занимала его.

Почти рядом с ним на другом столике сидел студент, которого он совсем не знал и не помнил, и молодой офицер. Они сыграли на бильярде и стали пить чай. Вдруг он услышал, что студент говорит офицеру про процентщицу, Алену Ивановну, коллежскую секретаршу, и сообщает ему ее адрес. Это уже одно показалось Раскольникову как-то странным: он сейчас оттуда, а тут как раз про нее же. Конечно, случайность, но он вот не может отвязаться теперь от одного весьма необыкновенного впечатления, а тут как раз ему как будто кто-то подслуживается: студент вдруг начинает сообщать товарищу об этой Алене Ивановне разные подробности.

– Славная она, – говорил он, – у ней всегда можно денег достать. Богата как жид, может сразу пять тысяч выдать, а и рублевым залогом не брезгает. Наших много у ней перебивало. Только стерва ужасная...

И он стал рассказывать, какая она злая, капризная, что стоит только одним днем просрочить заклад, и пропала вещь. Дает вчетверо меньше, чем стоит вещь, а процентов по пяти и даже по семи берет в месяц и т. д. Студент разболтался и сообщил, кроме того, что у старухи есть сестра, Лизавета, которую она, такая маленькая и гаденькая, бьет поминутно и держит в совершенном порабощении, как маленького ребенка, тогда как Лизавета, по крайней мере, восьми вершков росту...

– Вот ведь тоже феномен! – вскричал студент и захохотал.

Они стали говорить о Лизавете. Студент рассказывал о ней с каким-то особенным удовольствием и все смеялся, а офицер с большим интересом слушал и просил студента прислать ему эту Лизавету для починки белья. Раскольников не проронил ни одного слова и зараз все узнал: Лизавета была младшая, сводная (от разных матерей) сестра старухи, и было ей уже тридцать пять лет. Она работала на сестру день и ночь, была в доме вместо кухарки и прачки и, кроме того, шила на продажу, даже полы мыть нанималась, и все сестре отдавала. Никакого заказа и никакой работы не смела взять на себя без позволения старухи. Старуха же уже сделала свое завещание, что известно было самой Лизавете, которой по завещанию не доставалось ни гроша, кроме движимости, стульев и прочего; деньги же все назначались в один монастырь в Н – й губернии, на вечный помин души. Была же Лизавета мещанка, а не чиновница, девица, и собой ужасно нескладная, росту замечательно высокого, с длинными, как будто вывернутыми ножищами, всегда в стоптанных козловых башмаках, и держала себя чисто плотно. Главное же, чему удивлялся и смеялся студент, было то, что Лизавета поминутно была беременна.

– Да ведь ты говоришь, она урод? – заметил офицер.

– Да, смуглая такая, точно солдат переряженный, но знаешь, совсем не урод. У нее такое доброе лицо и глаза. Очень даже. Доказательство – многим нравится. Тихая такая, кроткая, безответная, согласная, на все согласная. А улыбка у ней даже очень хороша.

– Да ведь она и тебе нравится? – засмеялся офицер.

– Из странности. Нет, вот что я тебе скажу. Я бы эту проклятую старуху убил и ограбил, и уверяю тебя, что без всякого зазору совести, – с жаром прибавил студент.

Офицер опять захохотал, а Раскольников вздрогнул. Как это было странно!

– Позволь, я тебе серьезный вопрос задать хочу, – загорячился студент. – Я сейчас, конечно, пошутил, но смотри: с одной стороны, глупая, бессмысленная, ничтожная, злая, больная старушонка, никому не нужная и, напротив, всем вредная, которая сама не знает, для чего живет, и которая завтра же сама собой умрет. Понимаешь? Понимаешь?

– Ну, понимаю, – отвечал офицер, внимательно уставясь в горячившегося товарища.

– Слушай дальше. С другой стороны, молодые, свежие силы, пропадающие даром без поддержки, и это тысячами, и это всюду! Сто, тысячу добрых дел и начинаний, которые можно устроить и поправить на старухины деньги, обреченные в монастырь! Сотни, тысячи, может быть, существований, направленных на дорогу; десятки семейств, спасенных от нищеты, от разложения, от гибели, от разврата, от венерических больниц, – и все это на ее деньги. Убей ее и возьми ее деньги, с тем чтобы с их помощью посвятить потом себя на служение всему человечеству и общему делу: как ты думаешь, не загладится ли одно, крошечное преступленье тысячами добрых дел? За одну жизнь – тысячи жизней, спасенных от гниения и разложения. Одна смерть и сто жизней взамен – да ведь тут арифметика! Да и что значит на общих весах жизнь этой чахоточной, глупой и злой старушонки? Не более как жизнь вши, таракана, да и того не стоит, потому что старушонка вредна. Она чужую жизнь заедает: она наемни Лизавете палец со зла укусила; чуть-чуть не отрезали!

– Конечно, она недостойна жить, – заметил офицер, – но ведь тут природа.

– Эх, брат, да ведь природу поправляют и направляют, а без этого пришлось бы потонуть в предрассудках. Без этого ни одного бы великого человека не было. Говорят: «долг, совесть», – я ничего не хочу говорить против долга и совести, – но ведь как мы их понимаем? Стой, я тебе еще задам один вопрос. Слушай!

– Нет, ты стой; я тебе задам вопрос. Слушай!

– Ну!

– Вот ты теперь говоришь и ораторствуешь, а скажи ты мне: убьешь ты *сам* старуху или нет?

– Разумеется, нет! Я для справедливости... Не во мне тут и дело...

– А по-моему, коль ты сам не решаешься, так нет тут никакой и справедливости! Пойдем еще партию!

Раскольников был в чрезвычайном волнении. Конечно, все это были самые обыкновенные и самые частые, не раз уже слышанные им, в других только формах и на другие темы, молодые разговоры и мысли. Но почему именно теперь пришлось ему выслушать именно такой разговор и такие мысли, когда в собственной голове его только что зародились... *такие же точно мысли?* И почему именно сейчас, как только он вынес зародыш своей мысли от старухи, как раз и попадает он на разговор о старухе?.. Станным всегда казалось ему это совпадение. Этот ничтожный, трактирный разговор имел чрезвычайное на него влияние при дальнейшем развитии дела: как будто действительно было тут какое-то предопределение, указание...

.....

Возвратясь с Сенной, он бросился на диван и целый час просидел без движения. Между тем стемнело; свечи у него не было, да и в голову не приходило ему зажигать. Он никогда не мог припомнить: думал ли он о чем-нибудь в то время? Наконец он почувствовал давешнюю лихорадку, озноб, и с наслаждением догадался, что на диване можно и лечь. Скоро крепкий, свинцовый сон налег на него, как будто придавил.

Он спал необыкновенно долго и без снов. Настасья, вошедшая к нему в десять часов, на другое утро, насилу дотолкалась его. Она принесла ему чаю и хлеба. Чай был опять спитой, и опять в ее собственном чайнике.

– Эх ведь спит! – вскричала она с негодованием, – и все-то он спит!

Он приподнялся с усилием. Голова его болела; он встал было на ноги, повернулся в своей каморке и упал опять на диван.

– Опять спать! – вскричала Настасья, – да ты болен, что ль?

Он ничего не отвечал.

– Чаю-то хошь?

– После, – проговорил он с усилием, смыкая опять глаза и оборачиваясь к стене. Настасья постояла над ним.

– И впрямь, может, болен, – сказала она, повернувшись и ушла.

Она вошла опять в два часа, с супом. Он лежал как давеча. Чай стоял нетронутый. Настасья даже обиделась и с злостью стала толкать его.

– Чего дрыхнешь! – вскричала она, с отвращением смотря на него. Он приподнялся и сел, но ничего не сказал ей и глядел в землю.

– Болен аль нет? – спросила Настасья и опять не получила ответа.

– Ты хошь бы на улицу вышел, – сказала она, помолчав, – тебя хошь бы ветром обдуло.

Есть-то будешь, что ль?

– После, – слабо проговорил он, – ступай! – и махнул рукой.

Она постояла еще немного, с состраданием посмотрела на него и вышла.

Через несколько минут он поднял глаза и долго смотрел на чай и на суп. Потом взял хлеб, взял ложку и стал есть.

Он съел немного, без аппетита, ложки три-четыре, как бы машинально. Голова болела меньше. Пообедав, протянулся он опять на диван, но заснуть уже не мог, а лежал без движения, ничком, уткнув лицо в подушку. Ему все грезилось, и всё странные такие были грезы: всего чаще представлялось ему, что он где-то в Африке, в Египте, в каком-то оазисе. Караван отдыхает, смиренно лежат верблюды; кругом пальмы растут целым кругом; все обедают. Он же все пьет воду, прямо из ручья, который тут же, у бока, течет и журчит. И прохладно так, и чудесная-чудесная такая голубая вода, холодная, бежит по разноцветным камням и по такому чистому с золотыми блестками песку... Вдруг он ясно услышал, что бьют часы. Он вздрогнул, очнулся, приподнял голову, посмотрел в окно, сообразил время и вдруг вскочил, совершенно опомнившись, как будто кто его сорвал с дивана. На цыпочках подошел он к двери, приотворил ее тихонько и стал прислушиваться вниз на лестницу. Сердце его страшно билось. Но на лестнице было все тихо, точно все спали... Дико и чудно показалось ему, что он мог проспать в таком забытии со вчерашнего дня и ничего еще не сделал, ничего не приготовил... А меж тем, может, и шесть часов било... И необыкновенная лихорадочная и какая-то растерявшаяся суета охватила его вдруг, вместо сна и отупения. Приготовлений, впрочем, было немного. Он напрягал все усилия, чтобы все сообразить и ничего не забыть; а сердце все билось, стучало так, что ему дышать стало тяжело. Во-первых, надо было петлю сделать и к пальто пришить – дело минуты. Он полез под подушку и отыскал в напиханном под нее белье одну, совершенно развалившуюся, старую, немытую свою рубашку. Из лохмотьев ее он выдрал тесьму, в вершок шириной и вершков в восемь длиной. Эту тесьму сложил он вдвое, снял с себя свое широкое, крепкое, из какой-то толстой бумажной материи летнее пальто (единственное его верхнее платье) и стал пришивать оба конца тесьмы под левую мышку изнутри. Руки его тряслись пришивая, но он одолел, и так, что снаружи ничего не было видно, когда он опять надел пальто. Иголлка и нитки были у него уже давно приготовлены и лежали в столике, в бумажке. Что же касается петли, то это была очень ловкая его собственная выдумка: петля назначалась для топора. Нельзя же было по улице нести топор в руках. А если под пальто спрятать, то все-таки надо было рукой придерживать, что было бы заметно. Теперь же, с петлей, стоит только вложить в нее лезвие топора, и он будет висеть спокойно, под мышкой изнутри, всю дорогу. Запустив же руку в боковой карман пальто, он мог и конец топорной ручки придерживать, чтоб она не болталась; а так как пальто было очень широкое, настоящий мешок, то и не могло

быть приметно снаружи, что он что-то рукой, через карман, придерживает. Эту петлю он тоже уже две недели назад придумал.

Покончив с этим, он просунул пальцы в маленькую щель, между его «турецким» диваном и полом, пошарил около левого угла и вытащил давно уже приготовленный и спрятанный там *заклад*. Этот заклад был, впрочем, вовсе не заклад, а просто деревянная, гладко обструганная дощечка, величиной и толщиной не более, как могла бы быть серебряная папиросочница. Эту дощечку он случайно нашел, в одну из своих прогулок, на одном дворе, где, во флигеле, помещалась какая-то мастерская. Потом уже он прибавил к дощечке гладкую и тоненькую железную полоску, – вероятно, от чего-нибудь отломок, – которую тоже нашел на улице тогда же. Сложив обе дощечки, из коих железная была меньше деревянной, он связал их вместе накрепко, крест-накрест, ниткой; потом аккуратно и щеголевато увертел их в чистую белую бумагу и обвязал тоненькою тесемочкой, тоже накрест, а узелок приладил так, чтобы помудреннее было развязать. Это для того, чтобы на время отвлечь внимание старухи, когда она начнет возиться с узелком, и улучшить таким образом минуту. Железная же пластинка прибавлена была для весу, чтобы старуха хоть в первую минуту не догадалась, что «вещь» деревянная. Все это хранилось у него до времени под диваном. Только что он достал заклад, как вдруг где-то на дворе раздался чей-то крик:

– Семей час давно!

– Давно! Боже мой!

Он бросился к двери, прислушался, схватил шляпу и стал сходить вниз свои тринадцать ступеней, осторожно, неслышно, как кошка. Предстояло самое важное дело – украсть из кухни топор. О том, что дело надо сделать топором, решено им было уже давно. У него был еще складной садовый ножик; но на нож, и особенно на свои силы, он не надеялся, а потому и остановился на топоре окончательно. Заметим, кстати, одну особенность по поводу всех окончательных решений, уже принятых им в этом деле. Они имели одно странное свойство: чем окончательнее они становились, тем безобразнее, нелепее, тотчас же становились и в его глазах. Несмотря на всю мучительную внутреннюю борьбу свою, он никогда, ни на одно мгновение не мог уверовать в исполнимость своих замыслов, во все это время.

И если бы даже случилось когда-нибудь так, что уже все до последней точки было бы им разобрано и решено окончательно и сомнений не оставалось бы уже более никаких, – то тут-то бы, кажется, он и отказался от всего, как от нелепости, чудовищности и невозможности. Но неразрешенных пунктов и сомнений оставалась еще целая бездна. Что же касается до того, где достать топор, то эта мелочь его нисколько не беспокоила, потому что не было ничего легче. Дело в том, что Настасья, и особенно по вечерам, поминутно не бывало дома: или убежит к соседям, или в лавочку, а дверь всегда оставляет настежь. Хозяйка только из-за этого с ней и ссорилась. Итак, стоило только потихоньку войти, когда придет время, в кухню и взять топор, а потом, чрез час (когда все уже кончится), войти и положить обратно. Но представлялись и сомнения: он, положим, придет через час, чтобы положить обратно, а Настасья тут как тут, воротилась. Конечно, надо пройти мимо и выждать, пока она опять выйдет. А ну как тем временем хватится топора, искать начнет, раскритичится, – вот и подозрение или, по крайней мере, случай к подозрению.

Но это еще были мелочи, о которых он и думать не начинал, да и некогда было. Он думал о главном, а мелочи отлагал до тех пор, когда сам *во всем убедится*. Но последнее казалось решительно неосуществимым. Так, по крайней мере, казалось ему самому. Никак он не мог, например, вообразить себе, что когда-нибудь он кончит думать, встанет и – просто пойдет туда... Даже недавнюю *пробу* свою (то есть визит с намерением окончательно осмотреть место) он только *пробовал* было сделать, но далеко не взаправду, а так: «дай-ка, дескать, пойду и опробую, что мечтать-то!» – и тотчас не выдержал, плюнул и убежал, в остервенении на самого себя. А между тем, казалось бы, весь анализ, в смысле нравственного разрешения вопроса,

был уже им покончен: казуистика его выточилась, как бритва, и сам в себе он уже не находил сознательных возражений. Но в последнем случае он просто не верил себе и упрямо, рабски, искал возражений по сторонам и ощупью, как будто кто его принуждал и тянул к тому. Последний же день, так нечаянно наступивший и все разом порешивший, подействовал на него почти совсем механически: как будто его кто-то взял за руку и потянул за собой, неотразимо, слепо, с неестественною силой, без возражений. Точно он попал клочком одежды в колесо машины, и его начало в нее втягивать.

Сначала – впрочем, давно уже прежде его занимал один вопрос: почему так легко отыскиваются и выдаются почти все преступления и так явно обозначаются следы почти всех преступников? Он пришел мало-помалу к многообразным и любопытным заключениям, и, по его мнению, главнейшая причина заключается не столько в материальной невозможности скрыть преступление, как в самом преступнике; сам же преступник, и почти всякий, в момент преступления подвергается какому-то упадку воли и рассудка, сменяемых, напротив того, детским феноменальным легкомыслием, и именно в тот момент, когда наиболее необходимы рассудок и осторожность. По убеждению его, выходило, что это затмение рассудка и упадок воли охватывают человека подобно болезни, развиваются постепенно и доходят до высшего своего момента незадолго до совершения преступления; продолжают в том же виде в самый момент преступления и еще несколько времени после него, судя по индивидууму; затем проходят так же, как проходит всякая болезнь. Вопрос же: болезнь ли порождает самое преступление или само преступление, как-нибудь по особенной натуре своей, всегда сопровождается чем-то вроде болезни? – он еще не чувствовал себя в силах разрешить.

Дойдя до таких выводов, он решил, что с ним лично, в его деле, не может быть подобных болезненных переворотов, что рассудок и воля останутся при нем, неотъемлемо, во все время исполнения задуманного, единственно по той причине, что задуманное им – «не преступление»... Опускаем весь тот процесс, посредством которого он дошел до последнего решения; мы и без того слишком забежали вперед... Прибавим только, что фактические, чисто материальные затруднения дела вообще играли в уме его самую второстепенную роль. «Стоит только сохранить над ними всю волю и весь рассудок, и они, в свое время, все будут побеждены, когда придется познакомиться до малейшей тонкости со всеми подробностями дела...» Но дело не начиналось. Окончательным своим решениям он продолжал всего менее верить, и когда пробил час, все вышло совсем не так, а как-то нечаянно, даже почти неожиданно.

Одно ничтожнейшее обстоятельство поставило его в тупик, еще прежде чем он сошел с лестницы. Поравнявшись с хозяйкиною кухней, как и всегда, отворенною настежь, он осторожно покосился в нее глазами, чтоб оглядеть предварительно: нет ли там, в отсутствие Настасьи, самой хозяйки, а если нет, то хорошо ли заперты двери в ее комнате, чтоб она тоже как-нибудь оттуда не выглянула, когда он за топором войдет? Но каково же было его изумление, когда он вдруг увидал, что Настасья не только на этот раз дома, у себя в кухне, но еще занимается делом: вынимает из корзины белье и развешивает на веревках! Увидев его, она перестала развешивать, обернулась к нему и все время смотрела на него, пока он проходил. Он отвел глаза и прошел, как будто ничего не замечая. Но дело было кончено: нет топора! Он был поражен ужасно.

«И с чего взял я, – думал он, сходя под ворота, – с чего взял я, что ее непременно в эту минуту не будет дома? Почему, почему, почему я так наверно это решил?» Он был раздавлен, даже как-то унижен. Ему хотелось смеяться над собою со злости... Тупая, зверская злоба закипела в нем.

Он остановился в раздумье под воротами. Идти на улицу, так, для виду, гулять, ему было противно; воротиться домой – еще противнее. «И какой случай навсегда потерял!» – пробормотал он, бесцельно стоя под воротами, прямо против темной каморки дворника, тоже отворенной. Вдруг он вздрогнул. Из каморки дворника, бывшей от него в двух шагах, из-под лавки

направо что-то блеснуло ему в глаза... Он осмотрелся кругом – никого. На цыпочках подошел он к дворницкой, сошел вниз по двум ступенькам и слабым голосом окликнул дворника. «Так и есть, нет дома! Где-нибудь близко, впрочем, на дворе, потому что дверь отперта настежь». Он бросился стремглав на топор (это был топор) и вытащил его из-под лавки, где он лежал между двумя поленами; тут же, не выходя, прикрепил его к петле, обе руки засунул в карманы и вышел из дворницкой; никто не заметил! «Не рассудок, так бес!» – подумал он, странно усмехаясь. Этот случай ободрил его чрезвычайно.

Он шел дорогой тихо и *степенно*, не торопясь, чтобы не подать каких подозрений. Мало глядел он на прохожих, даже старался совсем не глядеть на лица и быть как можно неприметнее. Тут вспомнилась ему его шляпа. «Боже мой! И деньги были третьего дня, и не мог переменить на фуражку!» Проклятие вырвалось из души его.

Заглянув случайно, одним глазом, в лавочку, он увидел, что там, на стенных часах, уже десять минут восьмого. Надо было и торопиться, и в то же время сделать крюк: подойти к дому в обход, с другой стороны...

Прежде, когда случалось ему представлять все это в воображении, он иногда думал, что очень будет бояться. Но он не очень теперь боялся, даже не боялся совсем. Занимали его в это мгновение даже какие-то посторонние мысли, только все ненадолго. Проходя мимо Юсупова сада, он даже очень было занялся мыслию об устройстве высоких фонтанов и о том, как бы они хорошо освежали воздух на всех площадях. Мало-помалу он перешел к убеждению, что если бы распространить Летний сад на все Марсово поле и даже соединить с дворцовым Михайловским садом, то была бы прекрасная и полезнейшая для города вещь. Тут заинтересовало его вдруг: почему именно во всех больших городах человек не то что по одной необходимости, но как-то особенно склонен жить и селиться именно в таких частях города, где нет ни садов, ни фонтанов, где грязь и вонь и всякая гадость. Тут ему вспомнились его собственные прогулки по Сенной, и он на минуту очнулся. «Что за вздор, – подумал он. – Нет, лучше совсем ничего не думать!»

«Так, верно, те, которых ведут на казнь, прилепливаются мыслями ко всем предметам, которые им встречаются на дороге», – мелькнуло у него в голове, но только мелькнуло как молния; он сам поскорей погасил эту мысль... Но вот уже и близко, вот и дом, вот и ворота. Где-то вдруг часы пробили один удар. «Что это, неужели половина восьмого? Быть не может, верно, бегут!»

На счастье его, в воротах опять прошло благополучно. Мало того, даже, как нарочно, в это самое мгновение только что перед ним въехал в ворота огромный воз сена, совершенно заслонявший его все время, как он проходил подворотню, и чуть только воз успел выехать из ворот во двор, он мигом проскользнул направо. Там, по ту сторону воза, слышно было, кричали и спорили несколько голосов, но его никто не заметил и навстречу никто не попался. Много окон, выходящих на этот огромный квадратный двор, было отперто в эту минуту, но он не поднял головы – силы не было. Лестница к старухе была близко, сейчас из ворот направо. Он уже был на лестнице...

Переведя дух и прижав рукой стукавшее сердце, тут же нащупав и оправив еще раз топор, он стал осторожно и тихо подниматься на лестницу, поминутно прислушиваясь. Но и лестница на ту пору стояла совсем пустая; все двери были заперты; никого-то не встретилось. Во втором этаже одна пустая квартира была, правда, растворена настежь, и в ней работали маляры, но те и не поглядели. Он постоял, подумал и пошел дальше. «Конечно, было бы лучше, если б их здесь совсем не было, но... над ними еще два этажа».

Но вот и четвертый этаж, вот и дверь, вот и квартира напротив; та, пустая. В третьем этаже, по всем приметам, квартира, что прямо под старухиной, тоже пустая: визитный билет, прибитый к дверям гвоздочками, снят – выехали!.. Он задыхался. На одно мгновение пронеслась в уме его мысль: «Не уйти ли?» Но он не дал себе ответа и стал прислушиваться в стару-

хину квартиру: мертвая тишина. Потом еще раз прислушался вниз на лестницу, слушал долго, внимательно... Затем огляделся в последний раз, подобрался, оправился и еще раз попробовал в петле топор. «Не бледен ли я... очень? – думалось ему, – не в особенном ли я волнении? Она недоверчива... Не подождать ли еще... пока сердце перестанет?..»

Но сердце не переставало. Напротив, как нарочно, стучало сильнее, сильнее, сильнее... Он не выдержал, медленно протянул руку к колокольчику и позвонил. Через полминуты еще раз позвонил, погромче.

Нет ответа. Звонить зря было нечего, да ему и не к фигуре. Старуха, разумеется, была дома, но она подозрительна и одна. Он отчасти знал ее привычки... и еще раз плотно приложил ухо к двери. Чувства ли его были так изошрены (что вообще трудно предположить), или действительно было очень слышно, но вдруг он различил как бы осторожный шорох рукой у замочной ручки и как бы шелест платья о самую дверь. Кто-то неприметно стоял у самого замка и точно так же, как он здесь, снаружи, прислушивался, притаясь изнутри и, кажется, тоже приложив ухо к двери...

Он нарочно пошевелился и что-то погромче пробормотал, чтоб и виду не подать, что прячется; потом позвонил в третий раз, но тихо, солидно и без всякого нетерпения. Вспоминая об этом после, ярко, ясно, – эта минута отчеканилась в нем навеки, – он понять не мог, откуда он взял столько хитрости, тем более что ум его как бы померкал мгновениями, а тела своего он почти и не чувствовал на себе... Мгновение спустя послышалось, что снимают запор.

VII

Дверь, как и тогда, отворилась на крошечную щелочку, и опять два острые и недоверчивые взгляда уставились на него из темноты. Тут Раскольников потерялся и сделал было важную ошибку.

Опасаясь, что старуха испугается того, что они одни, и не надеясь, что вид его ее разуберит, он взялся за дверь и потянул ее к себе, чтобы старуха как-нибудь не вздумала опять запереться. Увидя это, она не рванула дверь к себе обратно, но не выпустила и ручку замка, так что он чуть не вытащил ее, вместе с дверью, на лестницу. Видя же, что она стоит в дверях поперек и не дает ему пройти, он пошел прямо на нее. Та отскочила в испуге, хотела было что-то сказать, но как будто не смогла и смотрела на него во все глаза.

– Здравствуйте, Алена Ивановна, – начал он как можно развязнее, но голос не послушался его, прервался и задрожал, – я вам... вещь принес... да вот лучше пойдёмте сюда... к свету... – И, бросив ее, он прямо, без приглашения, прошел в комнату. Старуха побежала за ним; язык ее развязался.

– Господи! Да чего вам?.. Кто такой? Что вам угодно?

– Помилуйте, Алена Ивановна... знакомый ваш... Раскольников... вот, заклад принес, что обещался наемни... – И он протягивал ей заклад.



Старуха взглянула было на заклад, но тотчас же уставилась глазами прямо в глаза незваному гостю. Она смотрела внимательно, злобно и недоверчиво. Прошло с минуту; ему показалось даже в ее глазах что-то вроде насмешки, как будто она уже обо всем догадалась. Он чувствовал, что теряется, что ему почти страшно, до того страшно, что кажется, смотри она так, не говори ни слова еще с полминуты, то он бы убежал от нее.

– Да что вы так смотрите, точно не узнали? – проговорил он вдруг тоже со злобой. – Хотите берите, а нет – я к другим пойду, мне некогда.

Он и не думал это сказать, а так, само вдруг выговорилось. Старуха опомнилась, и решительный тон гостя ее, видимо, ободрил.

– Да чего же ты, батюшка, так вдруг... что такое? – спросила она, смотря на заклад.

– Серебряная папиросочница: ведь я говорил прошлый раз.

Она протянула руку.

– Да чтой-то вы какой бледный? Вот и руки дрожат! Искупался, что ль, батюшка?

– Лихорадка, – отвечал он отрывисто. – Поневоле станешь бледный... коли есть нечего, – прибавил он, едва выговаривая слова. Силы опять покидали его. Но ответ показался правдоподобным; старуха взяла заклад.

– Что такое? – спросила она, еще раз пристально оглядев Раскольникову и взвешивая заклад на руке.

– Вещь... папиросочница... серебряная... посмотрите.

– Да чтой-то, как будто и не серебряная... Ишь навертел.

Стараясь развязать снурок и оборотясь к окну, к свету (все окна у ней были заперты, несмотря на духоту), она на несколько секунд совсем его оставила и стала к нему задом. Он расстегнул пальто и высвободил топор из петли, но еще не вынул совсем, а только придерживал правой рукой под одеждой. Руки его были ужасно слабы; самому ему слышалось, как они, с каждым мгновением, все более немели и деревенели. Он боялся, что выпустит и уронит топор... вдруг голова его как бы закружилась.

– Да что он тут навертел! – с досадой вскричала старуха и пошевелилась в его сторону.

Ни одного мига нельзя было терять более. Он вынул топор совсем, взмахнул его обеими руками, едва себя чувствуя, и почти без усилия, почти машинально, опустил на голову обухом. Силы его тут как бы не было. Но как только он раз опустил топор, тут и родилась в нем сила.

Старуха, как и всегда, была простоволосая. Светлые с проседью, жиденькие волосы ее, по обыкновению жирно смазанные маслом, были заплетены в крысиную косичку и подобраны под осколок роговой гребенки, торчавшей на ее затылке. Удар пришелся в самое темя, чему способствовал ее малый рост. Она вскрикнула, но очень слабо, и вдруг вся осела к полу, хотя и успела еще поднять обе руки к голове. В одной руке еще продолжала держать «заклад». Тут он изо всей силы ударил раз и другой, все обухом и все по темени. Кровь хлынула, как из опрокинутого стакана, и тело повалилось навзничь. Он отступил, дал упасть и тотчас же нагнулся к ее лицу; она была уже мертвая. Глаза были вытаращены, как будто хотели выпрыгнуть, а лоб и все лицо были сморщены и искажены судорогой.

Он положил топор на пол, подле мертвой, и тотчас же полез ей в карман, стараясь не замараться текущею кровью, – в тот самый правый карман, из которого она в прошлый раз вынимала ключи. Он был в полном уме, затмений и головокружений уже не было, но руки все еще дрожали. Он вспомнил потом, что был даже очень внимателен, осторожен, старался все не запачкаться... Ключи он тотчас же вынул; все, как и тогда, были в одной связке, на одном стальном обручке. Тотчас же он побежал с ними в спальню. Это была очень небольшая комната, с огромным киотом образов. У другой стены стояла большая постель, весьма чистая, с шелковым, наборным из лоскутков, ватным одеялом. У третьей стены был комод. Странное дело: только что он начал прилаживать ключи к комоду, только что услышал их звяканье, как будто судорога прошла по нем. Ему вдруг опять захотелось бросить все и уйти. Но это было только мгновение; уходить было поздно. Он даже усмехнулся на себя, как вдруг другая тревожная мысль ударила ему в голову. Ему вдруг почудилось, что старуха, пожалуй, еще жива и еще может очнуться. Бросив ключи и комод, он побежал назад, к телу, схватил топор и намахнулся еще раз над старухой, но не опустил. Сомнения не было, что она мертвая. Нагнувшись и рассматривая ее опять ближе, он увидел ясно, что череп был раздроблен и даже сворочен чуть-чуть на сторону. Он было хотел пощупать пальцем, но отдернул руку; да и без того было видно. Крови между тем натекла уже целая лужа. Вдруг он заметил на ее шее снурок, дернул его, но

снурок был крепок и не срывался; к тому же намок в крови. Он попробовал было вытащить так, из-за пазухи, но что-то мешало, застряло. В нетерпении он взмахнул было опять топором, чтобы рубнуть по шнуру тут же, по телу, сверху, но не посмел и с трудом, испачкав руки и топор, после двухминутной возни, разрезал снурок, не касаясь топором тела, и снял; он не ошибся – кошелек. На шнурке были два креста, кипарисный и медный, и, кроме того, финифтяный образок; и тут же вместе с ними висел небольшой, замшевый, засаленный кошелек, с стальным ободком и колечком. Кошелек был очень туго набит; Раскольников сунул его в карман, не осматривая, кресты сбросил старухе на грудь и, захватив на этот раз и топор, бросился обратно в спальню.

Он спешил ужасно, схватился за ключи и опять начал возиться с ними. Но как-то все неудачно: не вкладывались они в замки. Не то чтобы руки его так дрожали, но он все ошибался: и видит, например, что ключ не тот, не подходит, а все сует. Вдруг он припомнил и сообразил, что этот большой ключ, с зубчатой бородкой, который тут же болтается с другими маленькими, непременно должен быть вовсе не от комода (как и в прошлый раз ему на ум пришло), а от какой-нибудь укладки, и что в этой-то укладке, может быть, все и припрятано. Он бросил комод и тотчас же полез под кровать, зная, что укладки обыкновенно ставятся у старух под кроватями. Так и есть: стояла значительная укладка, побольше аршина в длину, с выпуклою крышей, обитая красным сафьяном, с утыканными по нем стальными гвоздиками. Зубчатый ключ как раз пришелся и отпер. Сверху, под белую простыней, лежала заячья шубка, крытая красным гарнитуром; под нею было шелковое платье, затем шаль, и туда, вглубь, казалось, все лежало одно тряпье. Прежде всего он принялся было вытирать об красный гарнитур свои запачканные в крови руки. «Красное, ну а на красном кровь неприметнее», – рассудилось было ему, и вдруг он опомнился: «Господи! С ума, что ли, я схожу?» – подумал он в испуге.

Но только что он пошевелил это тряпье, как вдруг, из-под шубки, выскользнули золотые часы. Он бросился все перевертывать. Действительно, между тряпьем были перемешаны золотые вещи – вероятно, все заклады, выкупленные и невыкупленные, – браслеты, цепочки, серьги, булавки и проч. Иные были в футлярах, другие просто обернуты в газетную бумагу, но аккуратно и бережно, в двойные листы, и кругом обвязаны тесемками. Нимало не медля, он стал набивать ими карманы панталон и пальто, не разбирая и не раскрывая свертков и футляров; но он не успел много набрать...

Вдруг послышалось, что в комнате, где была старуха, ходят. Он остановился и притих, как мертвый. Но все было тихо, стало быть, померещилось. Вдруг явственно послышался легкий крик, или как будто кто-то тихо и отрывисто простонал и замолчал. Затем опять мертвая тишина, с минуту или с две. Он сидел на корточках у сундука и ждал, едва переводя дух, но вдруг вскочил, схватил топор и выбежал из спальни.

Среди комнаты стояла Лизавета, с большим узлом в руках, и смотрела в оцепенении на убитую сестру, вся белая как полотно и как бы не в силах крикнуть. Увидав его выбежавшего, она задрожала как лист, мелкою дрожью, и по всему лицу ее побежали судороги; приподняла руку, раскрыла было рот, но все-таки не вскрикнула и медленно, задом, стала отодвигаться от него в угол, пристально, в упор, смотря на него, но все не крича, точно ей воздуху не доставало, чтобы крикнуть. Он бросился на нее с топором; губы ее перекошились так жалобно, как у очень маленьких детей, когда они начинают чего-нибудь пугаться, пристально смотрят на пугающий их предмет и собираются закричать. И до того эта несчастная Лизавета была проста, забита и напугана раз навсегда, что даже руки не подняла защитить себе лицо, хотя это был самый необходимо-естественный жест в эту минуту, потому что топор был прямо поднят над ее лицом. Она только чуть-чуть приподняла свою свободную левую руку, далеко не до лица, и медленно протянула ее к нему вперед, как бы отстраняя его. Удар пришелся прямо по черепу, острием, и сразу прорубил всю верхнюю часть лба, почти до темени. Она так и рухнулась. Раскольников совсем было потерялся, схватил ее узел, бросил его опять и побежал в прихожую.

Страх охватывал его все больше и больше, особенно после этого второго, совсем неожиданного убийства. Ему хотелось поскорее убежать отсюда. И если бы в ту минуту он в состоянии был правильнее видеть и рассуждать; если бы только мог сообразить все трудности своего положения, все отчаяние, все безобразие и всю нелепость его, понять при этом, сколько затруднений, а может быть, и злодейств еще остается ему преодолеть и совершить, чтобы вырваться отсюда и добраться домой, то очень может быть, что он бросил бы все и тотчас пошел бы сам на себя объявить, и не от страха даже за себя, а от одного только ужаса и отвращения к тому, что он сделал. Отвращение особенно поднималось и росло в нем с каждой минутой. Ни за что на свете не пошел бы он теперь к сундуку и даже в комнаты.

Но какая-то рассеянность, как будто даже задумчивость, стала понемногу овладевать им: минутами он как будто забывался или, лучше сказать, забывал о главном и прилеплялся к мелочам. Впрочем, заглянув на кухню и увидав на лавке ведро, наполовину полное воды, он догадался вымыть себе руки и топор. Руки его были в крови и липли. Топор он опустил лезвием прямо в воду, схватил лежавший на окошке, на расколоте блюдечке, кусочек мыла и стал, прямо в ведре, отмывать себе руки. Отмыв их, он вытащил и топор, вымыл железо, и долго, минуты с три, отмывал дерево, где закровянилось, пробуя кровь даже мылом. Затем все оттер бельем, которое тут же сушилось на веревке, протянутой через кухню, и потом долго, со вниманием, осматривал топор у окна. Следов не осталось, только древко еще было сырое. Тщательно вложил он топор в петлю, под пальто. Затем, сколько позволял свет в тусклой кухне, осмотрел пальто, панталоны, сапоги. Снаружи, с первого взгляда, как будто ничего не было; только на сапогах были пятна. Он помочил тряпку и оттер сапоги. Он знал, впрочем, что нехорошо разглядывает, что, может быть, есть что-нибудь в глаза бросающееся, чего он не замечает. В раздумье стал он среди комнаты. Мучительная, темная мысль поднималась в нем, мысль, что он сумасшествует и что в эту минуту не в силах ни рассудить, ни себя защитить, что вовсе, может быть, не то надо делать, что он теперь делает... «Боже мой! Надо бежать, бежать!» – пробормотал он и бросился в переднюю. Но здесь ожидал его такой ужас, какого, конечно, он еще ни разу не испытывал.

Он стоял, смотрел и не верил глазам своим: дверь, наружная дверь, из прихожей на лестницу, та самая, в которую он давеча звонил и вошел, стояла отпертая, даже на целую ладонь приотворенная: ни замка, ни запора, все время, во все это время! Старуха не заперла за ним, может быть, из осторожности. Но Боже! Ведь видел же он потом Лизавету! И как мог, как мог он не догадаться, что ведь вошла же она откуда-нибудь! Не сквозь стену же.

Он кинулся к дверям и наложил запор.

«Но нет, опять не то! Надо идти, идти...»

Он снял запор, отворил дверь и стал слушать на лестницу.

Долго он выслушивал. Где-то далеко, внизу, вероятно под воротами, громко и визгливо кричали чьи-то два голоса, спорили и бранились. «Что они?..» Он ждал терпеливо. Наконец разом все утихло, как отрезало; разошлись. Он уже хотел выйти, но вдруг этажом ниже с шумом растворилась дверь на лестницу, и кто-то стал сходить вниз, напевая какой-то мотив. «Как это они так все шумят!» – мелькнуло в его голове. Он опять притворил за собою дверь и переждал. Наконец все умолкло, ни души. Он уже ступил было шаг на лестницу, как вдруг опять послышались чьи-то новые шаги.

Эти шаги послышались очень далеко, еще в самом начале лестницы, но он очень хорошо и отчетливо помнил, что с первого же звука, тогда же стал подозревать почему-то, что это непременно *сюда*, в четвертый этаж, к старухе. Почему? Звуки, что ли, были такие особенные, знаменательные? Шаги были тяжелые, ровные, неспешные. Вот уж *он* прошел первый этаж, вот поднялся еще; все слышней и слышней! Послышалась тяжелая одышка входившего. Вот уж и третий начался... Сюда! И вдруг показалось ему, что он точно окостенел, что это точно

во сне, когда снится, что догоняют, близко, убить хотят, а сам точно прирос к месту и руками пошевелить нельзя.

И наконец, когда уже гость стал подниматься в четвертый этаж, тут только он весь вдруг встрепенулся и успел-таки быстро и ловко проскользнуть назад из сеней в квартиру и притворить за собой дверь. Затем схватил запор и тихо, неслышно, насадил его на петлю. Инстинкт помогал. Кончив все, он притаился не дыша, прямо сейчас у двери. Незванный гость был уже тоже у дверей. Они стояли теперь друг против друга, как давеча он со старухой, когда дверь разделяла их, а он прислушивался.

Гость несколько раз тяжело отдыхнулся. «Толстый и большой, должно быть», – подумал Раскольников, сжимая топор в руке. В самом деле, точно все это снилось. Гость схватился за колокольчик и крепко позвонил.

Как только звякнул жестяной звук колокольчика, ему вдруг как будто почудилось, что в комнате пошевелились. Несколько секунд он даже серьезно прислушивался. Незнакомец звякнул еще раз, еще подождал и вдруг, в нетерпении, изо всей силы стал дергать ручку у дверей. В ужасе смотрел Раскольников на прыгавший в петле крюк запора и с тупым страхом ждал, что вот-вот и запор сейчас выскочит. Действительно, это казалось возможным: так сильно дергали. Он было вздумал придержать запор рукой, но *тот* мог догадаться. Голова его как будто опять начинала кружиться. «Вот упаду!» – промелькнуло в нем, но незнакомец заговорил, и он тотчас же опомнился.

– Да что они там, дрыхнут или передушил их кто? Тррекреля-тые! – заревел он как из бочки. – Эй, Алена Ивановна, старая ведьма! Лизавета Ивановна, красота неописанная! Откройте! У, треклятые, спят они, что ли?

И снова, остервенясь, он раз десять сразу, из всей мочи, дернул в колокольчик. Уж, конечно, это был человек властный и короткий в доме.

В самую эту минуту вдруг мелкие, поспешные шаги слышались недалеко на лестнице. Подходил еще кто-то. Раскольников и не расслышал сначала.

– Неужели нет никого? – звонко и весело закричал подошедший, прямо обращаясь к первому посетителю, все еще продолжавшему дергать звонок. – Здравствуйте, Кох!

«Судя по голосу, должно быть, очень молодой», – подумал вдруг Раскольников.

– Да черт их знает, замок чуть не разломал, – отвечал Кох. – А вы как меня изволите знать?

– Ну вот! А третьего-то дня, в «Гамбринусе», три партии сряду взял у вас на биллиарде!

– А-а-а...

– Так нет их-то? Странно. Глупо, впрочем, ужасно. Куда бы старухе уйти? У меня дело.

– Да и у меня, батюшка, дело!

– Ну, что же делать? Значит, назад. Э-эх! А я было думал денег достать! – вскричал молодой человек.

– Конечно, назад, да зачем назначать? Сама мне, ведьма, час назначила. Мне ведь крюк. Да и куда, к черту, ей шляться, не понимаю? Круглый год сидит ведьма, киснет, ноги болят, а тут вдруг и на гулянье!

– У дворника не спросить ли?

– Чего?

– Куда ушла и когда придет?

– Гм... черт... спросить... Да ведь она ж никуда не ходит... – и он еще раз дернул за ручку замка. – Черт, нечего делать, идти!

– Стойте! – закричал вдруг молодой человек. – Смотрите: видите, как дверь отстает, если дергать?

– Ну?

– Значит, она не на замке, а на запоре, на крючке то есть! Слышите, как запор брякает?

– Ну?

– Да как же вы не понимаете? Значит, кто-нибудь из них дома. Если бы все ушли, так снаружи бы ключом заперли, а не на запор изнутри. А тут, – слышите, как запор брякает? А чтобы затвориться на запор изнутри, надо быть дома, понимаете? Стало быть, дома сидят, да не отпирают!

– Ба! Да и в самом деле! – закричал удивившийся Кох. – Так что ж они там! – И он неистово начал дергать дверь.

– Стойте! – закричал опять молодой человек, – не дергайте! Тут что-нибудь да не так... вы ведь звонили, дергали – не отпирают; значит, или они обе в обмороке, или...

– Что?

– А вот что: пойдете-ка за дворником; пусть он их сам разбудит.

– Дело! – Оба двинулись вниз.

– Стойте! Оставайтесь-ка вы здесь, а я сбегаю вниз за дворником.

– Зачем оставаться?

– А мало ли что?..

– Пожалуй...

– Я ведь в судебные следователи готовлюсь! Тут очевидно, оч-че-в-видно что-то не так! – горячо вскричал молодой человек и бегом пустился вниз по лестнице.

Кох остался, пошевелил еще раз тихонько звонком, и тот звякнул один удар; потом тихо, как бы размышляя и осматривая, стал шевелить ручку двери, притягивая и опуская ее, чтоб убедиться еще раз, что она на одном запоре. Потом пыхтя нагнулся и стал смотреть в замочную скважину; но в ней изнутри торчал ключ, и, стало быть, ничего не могло быть видно.

Раскольников стоял и сжимал топор. Он был точно в бреду. Он готовился даже драться с ними, когда они войдут. Когда стучались и сговаривались, ему несколько раз вдруг приходила мысль кончить все разом и крикнуть им из-за дверей. Порой хотелось ему начать ругаться с ними, дразнить их, покамест не отперли. «Поскорей бы уж!» – мелькнуло в его голове.

– Однако он, черт...

Время проходило, минута, другая – никто не шел. Кох стал шевелиться.

– Однако, черт!.. – закричал он вдруг и в нетерпении, бросив свой караул, отправился тоже вниз, торопясь и стуча по лестнице сапогами. Шаги стихли.

– Господи, что же делать!

Раскольников снял запор, приотворил дверь – ничего не слышно, и вдруг, совершенно уже не думая, вышел, притворил как мог плотнее дверь за собой и пустился вниз.

Он уже сошел три лестницы, как вдруг послышался сильный шум ниже, – куда деваться! Никуда-то нельзя было спрятаться. Он побежал было назад, опять в квартиру.

– Эй, леший, черт! Держи!

С криком вырвался кто-то внизу из какой-то квартиры и не то что побежал, а точно упал вниз, по лестнице, крича во всю глотку:

– Митька! Митька! Митька! Митька! Митька! Шут те дери-и-и!

Крик закончился взвизгом; последние звуки послышались уже на дворе; все затихло. Но в то же самое мгновение несколько человек, громко и часто говоривших, стали шумно подниматься на лестницу. Их было трое или четверо. Он расслышал звонкий голос молодого. «Они!»

В полном отчаянии пошел он им прямо навстречу: будь что будет! Остановят, все пропало, пропустят, тоже все пропало: запомнят. Они уже сходились; между ними оставалась всего одна только лестница – и вдруг спасение! В нескольких ступеньках от него, направо, пустая и настезь отпертая квартира, та самая квартира второго этажа, в которой красили рабочие, а теперь, как нарочно, ушли. Они-то, верно, и выбежали сейчас с таким криком. Полы только что окрашены, среди комнаты стоят кадочка и черепок с краской и с мазилкой. В одно мгновение

прошмыгнул он в отворенную дверь и притаился за стеной, и было время: они уже стояли на самой площадке. Затем повернули вверх и прошли мимо, в четвертый этаж, громко разговаривая. Он выждал, вышел на цыпочках и побежал вниз.

Никого на лестнице! Под воротами тоже. Быстро прошел он подворотню и повернул налево по улице.

Он очень хорошо знал, он отлично хорошо знал, что они, в это мгновение, уже в квартире, что очень удивились, видя, что она отперта, тогда как сейчас была заперта, что они уже смотрят на тела и что пройдет не больше минуты, как они догадуются и совершенно сообразят, что тут только что был убийца и успел куда-нибудь спрятаться, проскользнуть мимо них, убежать; догадуются, пожалуй, и о том, что он в пустой квартире сидел, пока они вверх проходили. А между тем ни под каким видом не смел он очень прибавить шагу, хотя до первого поворота шагов сто оставалось. «Не скользнуть ли разве в подворотню какую-нибудь и переждать где-нибудь на незнакомой лестнице? Нет, беда! А не забросить ли куда топор? Не взять ли извозчика? Беда! беда!»

Наконец вот и переулок; он поворотил в него полумертвый; тут он был уже наполовину спасен и понимал это: меньше подозрений, к тому же тут сильно народ сновал, и он стирался в нем, как песчинка. Но все эти мучения до того его обессилили, что он едва двигался. Пот шел из него каплями; шея была вся смочена. «Ишь нарезался!» – крикнул кто-то ему, когда он вышел на канаву.

Он плохо теперь помнил себя; чем дальше, тем хуже. Он помнил, однако, как вдруг, выйдя на канаву, испугался, что мало народу и что тут приметнее, и хотел было поворотить назад в переулок. Несмотря на то что чуть не падал, он все-таки сделал крюку и пришел домой с другой совсем стороны.

Не в полной памяти прошел он и в ворота своего дома; по крайней мере, он уже прошел на лестницу и тогда только вспомнил о топоре. А между тем предстояла очень важная задача: положить его обратно, и как можно незаметнее. Конечно, он уже не в силах был сообразить, что, может быть, гораздо лучше было бы ему совсем не класть топора на прежнее место, а подбросить его, хотя потом, куда-нибудь на чужой двор.

Но все обошлось благополучно. Дверь в дворницкую была притворена, но не на замке, стало быть, вероятнее всего было, что дворник дома. Но до того уже он потерял способность сообразить что-нибудь, что прямо подошел к дворницкой и растворил ее. Если бы дворник спросил его: «что надо?» – он, может быть, так прямо и подал бы ему топор. Но дворника опять не было, и он успел уложить топор на прежнее место под скамью; даже поленом прикрыл по-прежнему. Никого, ни единой души, не встретил он потом до самой своей комнаты; хозяйкина дверь была заперта. Войдя к себе, он бросился на диван, так, как был. Он не спал, но был в забытьи. Если бы кто вошел тогда в его комнату, он бы тотчас же вскочил и закричал. Ключки и отрывки каких-то мыслей так и кишели в его голове; но он ни одной не мог схватить, ни на одной не мог остановиться, несмотря даже на усилия...

Часть вторая



I

Так пролежал он очень долго. Случалось, что он как будто и просыпался, и в эти минуты замечал, что уже давно ночь, а встать ему не приходило в голову. Наконец он заметил, что уже светло по-дневному. Он лежал на диване навзничь, еще остолбенелый от недавнего забытья. До него резко доносились страшные, отчаянные вопли с улицы, которые, впрочем, он каждую ночь выслушивал под своим окном, в третьем часу. Они-то и разбудили его теперь. «А! вот уж и из распивочных пьяные выходят, – подумал он, – третий час, – и вдруг вскочил, точно его сорвал кто с дивана. – Как! Третий уже час!» Он сел на диване, – и тут все припомнил! Вдруг, в один миг все припомнил!

В первое мгновение он думал, что с ума сойдет. Страшный холод обхватил его; но холод был и от лихорадки, которая уже давно началась с ним во сне. Теперь же вдруг ударил такой озноб, что чуть зубы не выпрыгнули и все в нем так и заходило. Он отворил дверь и начал слушать: в доме все совершенно спало. С изумлением оглядывал он себя и все кругом в комнате и не понимал: как это он мог вчера, войдя, не запереть дверей на крючок и броситься на диван, не только не раздевшись, но даже в шляпе: она скатилась и тут же лежала на полу, близ подушки. «Если бы кто зашел, что бы он подумал? Что я пьян, но...» Он бросился к окошку. Свету было довольно, и он поскорей стал себя оглядывать, всего, с ног до головы, все свое платье: нет ли следов? Но так нельзя было: дрожа от озноба, стал он снимать с себя все и опять осматривать кругом. Он перевертел все, до последней нитки и лоскутка, и, не доверяя себе, повторил осмотр раза три. Но не было ничего, кажется, никаких следов; только на том месте, где панталоны внизу осеклись и висели бахромой, на бахроме этой оставались густые следы запекшейся крови. Он схватил складной большой ножик и обрезал бахрому. Больше, кажется, ничего не было. Вдруг он вспомнил, что кошелек и вещи, которые он вытащил у старухи из сундука, все до сих пор у него по карманам лежат! Он и не подумал до сих пор их вынуть и спрятать! Не вспомнил о них даже теперь, как платье осматривал! Что ж это? Мигом бросился он их вынимать и выбрасывать на стол. Выбрав все, даже выворотив карманы, чтоб удостовериться, не остается ли еще чего, он всю эту кучу перенес в угол. Там, в самом углу, внизу, в одном месте были разодраны отставшие от стены обои: тотчас же он начал все запихивать в эту дыру, под бумагу: «вошло! все с глаз долой и кошелек тоже!» – радостно думал он, привстав и тупо смотря в угол, в оттопырившуюся еще больше дыру. Вдруг он весь вздрогнул от ужаса: «Боже мой, – шептал он в отчаянии, – что со мною? Разве это спрятано? Разве так прячут?»

Правда, он и не рассчитывал на вещи; он думал, что будут одни только деньги, а потому и не приготовил заранее места, – «но теперь-то, теперь чему я рад? – думал он. – Разве так прячут? Подлинно разум меня оставляет!» В изнеможении сел он на диван, и тотчас же нестерпимый озноб снова затряс его. Машинально потащил он лежавшее подле, на стуле, бывшее его студенческое зимнее пальто, теплое, но уже почти в лохмотьях, накрылся им, и сон, и бред опять разом охватили его. Он забылся.

Не более как минут через пять вскочил он снова и тотчас же, в исступлении, опять кинулся к своему платью. «Как это мог я опять заснуть, тогда как ничего не сделано! Так и есть, так и есть: петлю подмышкой до сих пор не снял! Забыл, об таком деле забыл! Такая улика!» Он сдернул петлю и поскорей стал разрывать ее в куски, запихивая их под подушку в белье. «Куски рваной холстины ни в каком случае не возбудят подозрения; кажется, так, кажется, так!» – повторял он, стоя среди комнаты, и с напряженным до боли вниманием стал опять высматривать кругом, на полу и везде, не забыл ли еще чего-нибудь? Уверенность, что все, даже память, даже простое соображение оставляют его, начинала нестерпимо его мучить. «Что, неужели уж начинается, неужели это уж казнь наступает? Вон, вон, так и есть!» Действи-

тельно, обрезки бахромы, которую он срезал с панталон, так и валялись на полу, среди комнаты, чтобы первый увидел! «Да что же это со мною!» – вскричал он опять как потерянный.

Тут пришла ему в голову странная мысль: что, может быть, и все его платье в крови, что, может быть, много пятен, но что он их только не видит, не замечает, потому что соображение его ослабело, раздроблено... ум помрачен... Вдруг он вспомнил, что и на кошельке была кровь. «Ба! Так, стало быть, и в кармане тоже должна быть кровь, потому что я еще мокрый кошелек тогда в карман сунул!» Мигом выворотил он карман, и – так и есть – на подкладке кармана есть следы, пятна! «Стало быть, не оставил же еще совсем разум, стало быть, есть же соображение и память, коли сам спохватился и догадался! – подумал он с торжеством, глубоко и радостно вздохнув всею грудью, – просто слабосилие лихорадочное, бред на минуту», – и он вырвал всю подкладку из левого кармана панталон. В эту минуту луч солнца осветил его левый сапог: на носке, который выглядывал из сапога, как будто показались знаки. Он сбросил сапог: «действительно знаки! Весь кончик носка пропитан кровью»; должно быть, он в ту лужу неосторожно тогда ступил... «Но что же теперь с этим делать? Куда девать этот носок, бахрому, карман?»

Он сгреб все это в руку и стоял среди комнаты. «В печку? Но в печке прежде всего начнут рыться. Сжечь? Да и чем сжечь? Спичек даже нет. Нет, лучше выйти куда-нибудь и все выбросить. Да! лучше выбросить! – повторял он, опять садясь на диван, – и сейчас, сию минуту, не медля!...» Но вместо того голова его опять склонилась на подушку; опять оледенил его нестерпимый озноб; опять он потащил на себя шинель. И долго, несколько часов, ему все еще мерещилось порывами, что «вот бы сейчас, не откладывая, пойти куда-нибудь и все выбросить, чтоб уж с глаз долой, поскорей, поскорей!» Он порывался с дивана несколько раз, хотел было встать, но уже не мог. Окончательно разбудил его сильный стук в двери.

– Да отвори, жив аль нет? И все-то он дрыхнет! – кричала Настасья, стуча кулаком в дверь, – целые дни-то деньские, как пес, дрыхнет! Пес и есть! Отвори, что ль. Одиннадцатый час.

– А може, и дома нет! – проговорил мужской голос. «Ба! это голос дворника... Что ему надо?»

Он вскочил и сел на диване. Сердце стучало так, что даже больно стало.

– А крюком кто ж заперся? – возразила Настасья, – ишь, запирает стал! Самого, что ль, унесут? Отвори, голова, проснись!

«Что им надо? Зачем дворник? Все известно. Сопротивляться или отворить? Пропитай...»

Он привстал, нагнулся вперед и снял крюк.

Вся его комната была такого размера, что можно было снять крюк, не вставая с постели.

Так и есть: стоят дворник и Настасья.

Настасья как-то странно его оглянула. Он с вызывающим и отчаянным видом взглянул на дворника. Тот молча протянул ему серую, сложенную вдвое бумажку, запечатанную бутылочным сургучом.

– Повестка, из конторы, – проговорил он, подавая бумагу.

– Из какой конторы?..

– В полицию, значит, зовут, в контору. Известно, какая контора.

– В полицию!.. Зачем?..

– А мне почем знать. Требуют, и иди. – Он внимательно посмотрел на него, осмотрелся кругом и повернулся уходить.

– Никак совсем разболелся? – заметила Настасья, не спуская с него глаз. Дворник тоже на минуту обернул голову. – Со вчерашнего дня в жару, – прибавила она.

Он не отвечал и держал в руках бумагу, не распечатывая.

– Да уж не вставай, – продолжала Настасья, разжалобясь и видя, что он спускает с дивана ноги. – Болен, так и не ходи: не сгорит. Что у те в руках-то?

Он взглянул: в правой руке у него отрезанные куски бахромы, носок и лоскутья вырванного кармана. Так и спал с ними. Потом уже, размышляя об этом, вспоминал он, что, и полупросыпаясь в жару, крепко-накрепко стискивал все это в руке и так опять засыпал.

– Ишь лохмотьев каких набрал и спит с ними, ровно с кладом... – И Настасья закатилась своим болезненно-нервическим смехом. Мигом сунул он все под шинель и пристально впился в нее глазами. Хоть и очень мало мог он в ту минуту вполне толково сообразить, но чувствовал, что с человеком не так обращаться будут, когда придут его брать. «Но... полиция?»

– Чаю бы выпил? Хошь, что ли? Принесу; осталось...

– Нет... я пойду: я сейчас пойду, – бормотал он, становясь на ноги.

– Поди, и с лестницы не сойдешь?

– Пойду...

– Как хошь.

Она ушла вслед за дворником. Тотчас же бросился он к свету осматривать носок и бахрому: «Пятна есть, но не совсем приметно; все загрязнилось, затерлось и уже выцвело. Кто не знает заранее – ничего не разглядит. Настасья, стало быть, ничего издали не могла приметить, слава Богу!» Тогда с трепетом распечатал он повестку и стал читать; долго читал он и наконец-то понял. Это была обыкновенная повестка из квартала явиться на сегодняшней день, в половине десятого, в контору квартального надзирателя.

«Да когда ж это бывало? Никаких я дел сам по себе не имею с полицией! И почему как раз сегодня? – думал он в мучительном недоумении. – Господи, поскорей бы уж!» Он было бросился на колени молиться, но даже сам рассмеялся, – не над молитвой, а над собой. Он поспешно стал одеваться. «Пропаду так пропаду, все равно! Носок надеть! – вздумалось вдруг ему, – еще больше затрется в пыли, и следы пропадут». Но только что он надел, тотчас же и сдернул его с отвращением и ужасом. Сдернул, но, сообразив, что другого нет, взял и надел опять – и опять рассмеялся. «Все это условно, все относительно, все это одни только формы, – подумал он мельком, одним только краешком мысли, а сам дрожа всем телом, – ведь вот надел же! Ведь кончил же тем, что надел!» Смех, впрочем, тотчас же сменился отчаянием. «Нет, не по силам...» – подумалось ему. Ноги его дрожали. «От страху», – пробормотал он про себя. Голова кружилась и болела от жару. «Это хитрость! Это они хотят заманить меня хитростью и вдруг сбить на всем, – продолжал он про себя, выходя на лестницу. – Скверно то, что я почти в бреду... я могу соврать какую-нибудь глупость...»

На лестнице он вспомнил, что оставляет все вещи так, в обойной дыре, – «а тут, пожалуй, нарочно без него обыск», – вспомнил и остановился. Но такое отчаяние и такой, если можно сказать, цинизм гибели вдруг овладели им, что он махнул рукой и пошел дальше.

«Только бы поскорей!..»

На улице опять жара стояла невыносимая; хоть бы капля дождя во все эти дни. Опять пыль, кирпич и известка, опять вонь из лавочек и распивочных, опять поминутно пьяные, чухонцы-разносчики и полуразвалившиеся извозчики. Солнце ярко блеснуло ему в глаза, так что больно стало глядеть и голова его совсем закружилась, – обыкновенное ощущение лихорадочного, выходящего вдруг на улицу в яркий солнечный день.

Дойдя до поворота во *вчерашнюю* улицу, он с мучительною тревогой заглянул в нее, на *тот* дом... и тотчас же отвел глаза.

«Если спросят, я, может быть, и скажу», – подумал он, подходя к конторе.



Контора была от него с четверть версты. Она только что переехала на новую квартиру, в новый дом, в четвертый этаж. На прежней квартире он был когда-то мельком, но очень давно. Войдя под ворота, он увидел направо лестницу, по которой сходил мужик с книжкой в руках: «дворник, значит; значит, тут и есть контора», и он стал подниматься вверх наугад. Спрашивать ни у кого ни об чем не хотел.

«Войду, стану на колена и все расскажу...» – подумал он, входя в четвертый этаж.

Лестница была узенькая, крутая и вся в помоях. Все кухни всех квартир во всех четырех этажах отворялись на эту лестницу и стояли так почти целый день. Оттого была страшная духота. Вверх и вниз всходили и сходили дворники с книжками под мышкой, хожалые и разный люд обоего пола – посетители. Дверь в самую контору была тоже настежь отворена. Он вошел и остановился в прихожей. Тут все стояли и ждали какие-то мужики. Здесь тоже духота была чрезвычайная и, кроме того, до тошноты било в нос свежую, еще невыстоявшуюся краской на тухлой олифе вновь покрашенных комнат. Переждав немного, он рассудил подвинуться еще вперед, в следующую комнату. Все крошечные и низенькие были комнаты. Страшное нетерпение тянуло его все дальше и дальше. Никто не замечал его. Во второй комнате сидели и писали какие-то писцы, одетые разве немного его получше, на вид все странный какой-то народ. Он обратился к одному из них.

– Чего тебе?

Он показал повестку из конторы.

– Вы студент? – спросил тот, взглянув на повестку.

– Да, бывший студент.

Писец оглядел его, впрочем, без всякого любопытства. Это был какой-то особенно взъерошенный человек с неподвижной идеей во взгляде.

«От этого ничего не узнаешь, потому что ему все равно», – подумал Раскольников.

– Ступайте туда, к письмоводителю, – сказал писец и ткнул вперед пальцем, показывая на самую последнюю комнату.

Он вошел в эту комнату (четвертую по порядку), тесную и битком набитую публикой – народом, несколько почище одетым, чем в тех комнатах. Между посетителями были две дамы. Одна в трауре, бедно одетая, сидела за столом против письмоводителя и что-то писала под его диктовку. Другая же дама, очень полная и багрово-красная, с пятнами, видная женщина, и что-то уж очень пышно одетая, с брошкой на груди, величиной в чайное блюдечко, стояла в сторонке и чего-то ждала. Раскольников сунул письмоводителю свою повестку. Тот мельком взглянул на нее, сказал: «подождите» и продолжал заниматься с траурною дамой.

Он перевел дух свободнее. «Наверно, не то!» Мало-помалу он стал ободряться, он усевещивал себя всеми силами ободриться и опомниться.

«Какая-нибудь глупость, какая-нибудь самая мелкая неосторожность, и я могу всего себя выдать! Гм... жаль, что здесь воздуха нет, – прибавил он, – духота... Голова еще больше кружится... и ум тоже...»

Он чувствовал во всем себе страшный беспорядок. Он сам боялся не совладеть с собой. Он старался прицепиться к чему-нибудь и о чем бы ни думать, о совершенно постороннем, но это совсем не удавалось. Письмоводитель сильно, впрочем, интересовал его: ему все хотелось что-нибудь угадать по его лицу, раскусить. Это был очень молодой человек, лет двадцати двух, с смуглою и подвижною физиономией, казавшеюся старше своих лет, одетый по моде и фатом, с пробором на затылке, расчесанный и распомаженный, со множеством перстней и колец на белых отчищенных щетками пальцах и золотыми цепями на жилете. С одним бывшим тут иностранцем он даже сказал слова два по-французски, и очень удовлетворительно.

– Луиза Ивановна, вы бы сели, – сказал он мельком разодетой багрово-красной даме, которая все стояла, как будто не смея сама сесть, хотя стул был рядом.

– Ich danke⁷, – сказала та и тихо, с шелковым шумом, опустилась на стул. Светло-голубое с белою кружевною отделкой платье ее, точно воздушный шар, распространилось вокруг стула и заняло чуть не полкомнаты. Понесло духами. Но дама, очевидно, робела того, что занимает полкомнаты и что от нее так несет духами, хотя и улыбалась трусливо и нахально вместе, но с явным беспокойством.

⁷ Благодарю (нем.).

Траурная дама наконец кончила и стала вставать. Вдруг, с некоторым шумом, весьма молодцевато и как-то особенно повертывая с каждым шагом плечами, вошел офицер, бросил фуражку с кокардой на стол и сел в кресла. Пышная дама так и подпрыгнула с места, его завидя, и с каким-то особенным восторгом принялась приседать; но офицер не обратил на нее ни малейшего внимания, а она уже не смела больше при нем садиться. Это был поручик, помощник квартального надзирателя, с горизонтально торчавшими в обе стороны рыжеватыми усами и с чрезвычайно мелкими чертами лица, ничего, впрочем, особенного, кроме некоторого нахальства, не выразившими. Он искоса и отчасти с негодованием посмотрел на Раскольникова: слишком уж на нем был скверен костюм, и, несмотря на все принижение, все еще не по костюму была осанка; Раскольников, по неосторожности, слишком прямо и долго посмотрел на него, так что тот даже обиделся.

– Тебе чего? – крикнул он, вероятно удивляясь, что такой оборванец и не думает ступать от его молниеносного взгляда.

– Потребовали... по повестке... – отвечал кое-как Раскольников.

– Это по делу о взыскании с них денег, с *студента*, – заторопился письмоводитель, отрываясь от бумаги. – Вот-с! – и он перекинул Раскольникову тетрадь, указав в ней место, – прочтите!

«Денег? Каких денег? – думал Раскольников, – но... стало быть, уж наверно не *то!*» И он вздрогнул от радости. Ему стало вдруг ужасно невыразимо легко. Все с плеч слетело.

– А в котором часу вам приходится написано, милостисдарь? – крикнул поручик, все более и более неизвестно чем оскорбляясь, – вам пишут в девять, а теперь уже двенадцатый час!

– Мне принесли всего четверть часа назад, – громко и через плечо отвечал Раскольников, тоже внезапно и неожиданно для себя рассердившийся и даже находя в этом некоторое удовольствие. – И того довольно, что я больной в лихорадке пришел.

– Не извольте кричать!

– Я и не кричу, а весьма ровно говорю, а это вы на меня кричите; а я студент и кричать на себя не позволю.

Помощник до того вспылал, что в первую минуту даже ничего не мог выговорить, и только какие-то брызги вылетали из уст его. Он вскочил с места.

– Извольте ма-а-алчать! Вы в присутствии. Не гр-р-рубиянить, судырь!

– Да и вы в присутствии, – вскрикнул Раскольников, – а кроме того, что кричите, папиросу курите, стало быть, всем нам манкируете. – Проговорив это, Раскольников почувствовал невыразимое наслаждение.

Письмоводитель с улыбкой смотрел на них. Горячий поручик был видимо озадачен.

– Это не ваше дело-с! – прокричал он наконец как-то неестественно громко, – а вот извольте-ка подать отзыв, который с вас требуют. Покажите ему, Александр Григорьевич. Жалобы на вас! Денег не платите! Ишь какой вылетел сокол ясный!

Но Раскольников уже не слушал и жадно схватился за бумагу, ища поскорей разгадки. Прочел раз, другой – и не понял.

– Это что же? – спросил он письмоводителя.

– Это деньги с вас по заемному письму требуют, взыскание. Вы должны или уплатить со всеми издержками, пенными и прочими, или дать письменно отзыв, когда можете уплатить, а вместе с тем и обязательство не выезжать до уплаты из столицы и не продавать и не скрывать своего имущества. А заимодавец волен продать ваше имущество, а с вами поступить по законам.

– Да я... никому не должен!

– Это уж не наше дело. А к нам вот поступило ко взысканию просроченное и законно протестованное заемное письмо в сто пятнадцать рублей, выданное вами вдове, коллежской

ассессорше Зарницыной, назад тому девять месяцев, а от вдовы Зарницыной перешедшее уплатою к надворному советнику Чебарову, мы и приглашаем вас посему к отзыву.

– Да ведь она ж моя хозяйка?

– Ну так что ж, что хозяйка?

Письмоводитель смотрел на него с снисходительною улыбкой сожаления, а вместе с тем и некоторого торжества, как на новичка, которого только что начинают обстреливать: «Что, дескать, каково ты теперь себя чувствуешь?» Но какое, какое было ему теперь дело до заемного письма, до взыскания! Стоило ли это теперь хоть какой-нибудь тревоги, в свою очередь, хотя какого-нибудь даже внимания! Он стоял, читал, слушал, отвечал, сам даже спрашивал, но все это машинально. Торжество самосохранения, спасение от давившей опасности – вот что наполняло в эту минуту все его существо, без предвидения, без анализа, без будущих загадываний и отгадываний, без сомнений и без вопросов. Это была минута полной, непосредственной, чисто животной радости. Но в эту самую минуту в конторе произошло нечто вроде грома и молнии. Поручик, еще весь потрясенный непочтительностию, весь пылая и, очевидно, желая поддержать пострадавшую амбицию, набросился всеми перунами на несчастную «пышную даму», смотревшую на него, с тех самых пор как он вошел, с преглупейшею улыбкой.

– А ты, такая-сякая и этакая, – крикнул он вдруг во все горло (траурная дама уже вышла), – у тебя там что прошедшую ночь произошло? а? Опять позор, дебош на всю улицу производишь. Опять драка и пьянство. В смирительный мечтаешь! Ведь я уж тебе говорил, ведь я уж предупреждал тебя десять раз, что в одиннадцатый не спущу! А ты опять, опять, такая-сякая ты этакая!

Даже бумага выпала из рук Раскольниковова, и он дико смотрел на пышную даму, которую так бесцеремонно отделявали; но скоро, однако же, сообразил, в чем дело, и тотчас же вся эта история начала ему очень даже нравиться. Он слушал с удовольствием, так даже, что хотелось хохотать, хохотать, хохотать... Все нервы его так и прыгали.

– Илья Петрович! – начал было письмоводитель заботливо, но остановился выждать время, потому что вскипевшего поручика нельзя было удержать иначе, как за руки, что он знал по собственному опыту.

Что же касается пышной дамы, то вначале она так и затрепетала от грома и молнии; но странное дело: чем многочисленнее и крепче становились ругательства, тем вид ее становился любезнее, тем очаровательнее делалась ее улыбка, обращенная к грозному поручику. Она семенила на месте и беспрерывно приседала, с нетерпением выжидая, что наконец-то и ей позволят вернуть свое слово, и дождалась.

– Никакой шум и драки у меня не буль, господин капитэн, – затараторила она вдруг, точно горох просыпали, с крепким немецким акцентом, хотя и бойко по-русски, – и никакой, никакой шкандаль, а они пришьоль пьян, и это я все расскажит, господин капитэн, а я не виноват... у меня благородный дом, господин капитэн, и благородное обращение, господин капитэн, и я всегда, всегда сама не хотель никакой шкандаль. А они совсем пришьоль пьян и потом опять три путилки спросил, а потом один поднял ноги и стал ногом фортепьян играль, и это совсем нехорошо в благородный дом, и он ганц фортепьян ломаль, и совсем, совсем тут нет никакой манир, и я сказалъ. А он путилку взял и стал всех сзади путилкой толкаль. И тут как я стал скоро дворник позваль и Карль пришьоль, он взял Карль и глаз прибилъ, и Генриет тоже глаз прибилъ, а мне пять раз щеку билъ. И это так неделикатно в благородный дом, господин капитэн, и я кричалъ. А он на канав окно отворяль и стал в окно, как маленькая свинья, визжалъ; и это срам. И как можно в окно на улиц, как маленькая свинья, визжалъ; и это срам. Фуй-фуй-фуй! И Карль сзади его за фрак от окна таскаль и тут, это правда, господин капитэн, ему зейн рок изорваль. И тогда он кричалъ, что ему пятнадцать целковых ман мус штраф платиль. И я сама, господин капитэн, пять целковых ему зейн рок платиль. И это неблагородный

гость, господин капитэн, и всякой шкандаль делал! Я, говорил, на вас большой сатир гедрюкт будет, потому я во всех газет могу про вас все сочинить.

– Из сочинителей, значит?

– Да, господин капитэн, и какой же это неблагородный гость, господин капитэн, когда в благородный дом...

– Ну-ну-ну! Довольно! Я уж тебе говорил, говорил, я ведь тебе говорил...

– Илья Петрович! – снова значительно проговорил письмоводитель. Поручик быстро взглянул на него; письмоводитель слегка кивнул головой.

– ...Так вот же тебе, почтеннейшая *Лавиза* Ивановна, мой последний сказ, и уж это в последний раз, – продолжал поручик. – Если у тебя еще хоть один только раз в твоём благородном доме произойдет скандал, так я тебя самое на цугундер, как в высоком слоге говорится. Слышала? Так литератор, сочинитель, пять целковых в «благородном доме» за фалду взял? Вон они, сочинители! – и он метнул презрительный взгляд на Раскольниковца. – Третьего дня в трактире тоже история: пообедал, а платить не желает; «я, дескать, вас в сатире за то опишу». На пароходе тоже другой, на прошлой неделе, почтенное семейство статского советника, жену и дочь, подлеjšíими словами обозвал. Из кондитерской наемднн в толчки одного выгнали. Вот они каковы, сочинители, литераторы, студенты, глашатаи... тьфу! А ты пошла! Я вот сам к тебе загляну... тогда берегись! Слышала?

Луиза Ивановна с уторопленною любезностью пустилась присесть на все стороны и, приседа, допятилась до дверей; но в дверях наскочила задом на одного видного офицера, с открытым свежим лицом и с превосходными густейшими белокурыми бакенами. Это был сам Никодим Фомич, квартальный надзиратель. Луиза Ивановна поспешила присесть чуть не до полу и частыми мелкими шагами, подпрыгивая, полетела из конторы.

– Опять грохот, опять гром и молния, смерч, ураган! – любезно и дружески обратился Никодим Фомич к Илье Петровичу, – опять растревожили сердце, опять закипел! Еще с лестницы слышал.

– Да што! – с благородною небрежностью проговорил Илья Петрович (и даже не што, а как-то: «Да-а шта-а!»), переходя с какими-то бумагами к другому столу и картинно передергивая с каждым шагом плечами, куда шаг, туда и плечо; – вот-с, извольте видеть: господин сочинитель, то бишь студент, бывший то есть, денег не платит, векселей надавал, квартиру не очищает, беспрерывные на них поступают жалобы, а изволили в претензию войти, что я папироску при них закурил! Сами п-п-подличают, а вот-с, извольте взглянуть на них: вот они в самом своем привлекательном теперь виде-с!

– Бедность не порок, дружище, ну да уж что! Известно, порох, не мог обиды перенести. Вы чем-нибудь, верно, против него обиделись и сами не удержались, – продолжал Никодим Фомич, любезно обращаясь к Раскольниковцу, – но это вы напрасно: на-и-бла-га-а-ар-р-роднейший, я вам скажу, человек, но порох, порох! Вспылл, вскипел, сторел – и нет! И все прошло! И в результате одно только золото сердца! Его и в полку прозвали: «поручик-порох»...

– И какой еще п-п-полк был! – воскликнул Илья Петрович, весьма довольный, что его так приятно пощекотали, но все еще будируя.

Раскольниковцу вдруг захотелось сказать им всем что-нибудь необыкновенно приятное.

– Да помилуйте, капитан, – начал он весьма развязно, обращаясь вдруг к Никодиму Фомичу, – вникните и в мое положение... Я готов даже просить у них извинения, если в чем с своей стороны манкировал. Я бедный и больной студент, удрученный (он так и сказал: «удрученный») бедностью. Я бывший студент, потому что теперь не могу содержать себя, но я получу деньги... У меня мать и сестра в – й губернии... Мне пришлют, и я... заплачу. Хозяйка моя добрая женщина, но она до того озлилась, что я уроки потерял и не плачу четвертый месяц, что не присылает мне даже обедать... И не понимаю совершенно, какой это вексель! Теперь она с меня требует по заемному этому письму, что ж я ей заплачу, посудите сами!..

– Но это ведь не наше дело... – опять было заметил письмоводитель...

– Позвольте, позвольте, я с вами совершенно согласен, но позвольте и мне разъяснить, – подхватил опять Раскольников, обращаясь не к письмоводителю, а все к Никодиму Фомичу, но стараясь всеми силами обращаться тоже и к Илье Петровичу, хотя тот упорно делал вид, что роется в бумагах и презрительно не обращает на него внимания, – позвольте и мне с своей стороны разъяснить, что я живу у ней уж около трех лет, с самого приезда из провинции и прежде... прежде... впрочем, отчего ж мне и не признаться в свою очередь, с самого начала я дал обещание, что женюсь на ее дочери, обещание словесное, совершенно свободное... Это была девушка... впрочем, она мне даже нравилась... хотя я и не был влюблен... одним словом, молодость, то есть я хочу сказать, что хозяйка мне делала тогда много кредиту и я вел отчасти такую жизнь... я очень был легкомыслен...

– С вас вовсе не требуют таких интимностей, милостисдарь, да и времени нет, – грубо и с торжеством перебил было Илья Петрович, но Раскольников с жаром остановил его, хотя ему чрезвычайно тяжело стало вдруг говорить.

– Но позвольте, позвольте же мне, отчасти, все рассказать... как было дело и... в свою очередь... хотя это и лишнее, согласен с вами, рассказывать, – но год назад эта девица умерла от тифа, я же остался жильцом, как был, и хозяйка, как переехала на теперешнюю квартиру, сказала мне... и сказала дружески... что она совершенно во мне уверена и все... но что не захочу ли я дать ей это заемное письмо в сто пятнадцать рублей, всего что она считала за мной долгу. Позвольте-с: она именно сказала, что, как только я дам эту бумагу, она опять будет меня кредитовать сколько угодно и что никогда, никогда, в свою очередь, – это ее собственные слова были, – она не воспользуется этой бумагой, покамест я сам заплачу... И вот теперь, когда я и уроки потерял, и мне есть нечего, она и подает ко взысканию... Что ж я теперь скажу?

– Все эти чувствительные подробности, милостисдарь, до нас не касаются, – нагло отрезал Илья Петрович, – вы должны дать отзыв и обязательство, а что вы там изволили быть влюблены и все эти трагические места, до этого нам совсем дела нет.

– Ну уж ты... жестоко... – пробормотал Никодим Фомич, усаживаясь к столу и тоже принимаясь подписывать. Ему как-то стыдно стало.

– Пишите же, – сказал письмоводитель Раскольникову.

– Что писать? – спросил тот как-то особенно грубо.

– А я вам продиктую.

Раскольникову показалось, что письмоводитель стал с ним небрежнее и презрительнее после его исповеди, но, странное дело, – ему вдруг стало самому решительно все равно до чьего бы то ни было мнения, и перемена эта произошла как-то в один миг, в одну минуту. Если б он захотел подумать немного, то, конечно, удивился бы тому, как мог он так говорить с ними, минуту назад, и даже навязываться с своими чувствами? И откуда взялись эти чувства? Напротив, теперь, если бы вдруг комната наполнилась не квартальными, а первейшими друзьями его, то и тогда, кажется, не нашлось бы для них у него ни одного человеческого слова, до того вдруг опустело его сердце. Мрачное ощущение мучительного, бесконечного уединения и отчуждения вдруг сознательно сказались душе его. Не низость его сердечных излиятий перед Ильей Петровичем, не низость и поручикова торжества над ним перевернули вдруг так ему сердце. О, какое ему дело теперь до собственной подлости, до всех этих амбиций, поручиков, немок, взысканий, контор и проч., и проч.! Если б его приговорили даже сжечь в эту минуту, то и тогда он не шевельнулся бы, даже вряд ли прослушал бы приговор внимательно. С ним совершалось что-то совершенно ему незнакомое, новое, внезапное и никогда не бывалое. Не то чтоб он понимал, но он ясно ощущал, всю силою ощущения, что не только с чувствительными экспансивностями, как давеча, но даже с чем бы то ни было ему уже нельзя более обращаться к этим людям, в квартальной конторе, и будь это все его родные братья и сестры, а не квартальные поручики, то и тогда ему совершенно незачем было бы обращаться к ним и даже

ни в каком случае жизни; он никогда еще до сей минуты не испытывал подобного странного и ужасного ощущения. И что всего мучительнее – это было более ощущение, чем сознание, чем понятие; непосредственное ощущение, мучительнейшее ощущение из всех до сих пор жизнью пережитых им ощущений.

Письмоводитель стал диктовать ему форму обыкновенного в таком случае отзыва, то есть заплатить не могу, обещаюсь тогда-то (когда-нибудь), из города не выеду, имущество ни продавать, ни дарить не буду и проч.

– Да вы писать не можете, у вас перо из рук валится, – заметил письмоводитель, с любопытством вглядываясь в Раскольникову. – Вы больны?

– Да... голова кругом... говорите дальше!

– Да все; подпишитесь.

Письмоводитель отобрал бумагу и занялся с другими.

Раскольников отдал перо, но вместо того, чтоб встать и уйти, положил оба локтя на стол и стиснул руками голову. Точно гвоздь ему вбивали в темя. Странная мысль пришла ему вдруг: встать сейчас, подойти к Никодиму Фомичу и рассказать ему все вчерашнее, все до последней подробности, затем пойти вместе с ними на квартиру и указать им вещи, в углу, в дыре. Позыв был до того силен, что он уже встал с места, для исполнения. «Не обдумать ли хоть минуту? – пронеслось в его голове. – Нет, лучше и не думая, и с плеч долой!» Но вдруг он остановился как вкопанный: Никодим Фомич говорил с жаром Илье Петровичу, и до него долетели слова:

– Быть не может, обоих освободят! Во-первых, все противоречит; судите: зачем им дворника звать, если б это их дело? На себя доносить, что ли? Аль для хитрости? Нет, уж было бы слишком хитро! И, наконец, студента Пестрякова видели у самых ворот оба дворника и мещанка в самую ту минуту, как он входил: он шел с тремя приятелями и расстался с ними у самых ворот и о жительстве у дворников расспрашивал, еще при приятелях. Ну, станет такой о жительстве расспрашивать, если с таким намерением шел? А Кох, так тот, прежде чем к старухе заходить, внизу у серебряника полчаса сидел и ровно без четверти восемь от него к старухе наверх пошел. Теперь сообразите...

– Но позвольте, как же у них такое противоречие вышло: сами уверяют, что стучались и что дверь была заперта, а через три минуты, когда с дворником пришли, выходит, что дверь отперта?

– В том и штука: убийца непременно там сидел и заперся на запор; и непременно бы его там накрыли, если бы не Кох сдурил, не отправился сам за дворником. А он именно в этот-то промежуток и успел спуститься по лестнице и прошмыгнуть мимо их как-нибудь. Кох обеими руками крестится: «Если б я там, говорит, остался, он бы выскочил и меня убил топором». Русский молебен хочет служить, хе-хе!..

– А убийцу никто и не видал?

– Да где ж тут увидеть? Дом – Ноев ковчег, – заметил письмоводитель, прислушивавшийся с своего места.

– Дело ясное, дело ясное! – горячо повторил Никодим Фомич.

– Нет, дело очень неясное, – скрепил Илья Петрович.

Раскольников поднял свою шляпу и пошел к дверям, но до дверей он не дошел...

Когда он очнулся, то увидал, что сидит на стуле, что его поддерживает справа какой-то человек, что слева стоит другой человек, с желтым стаканом, наполненным желтой водою, и что Никодим Фомич стоит перед ним и пристально глядит на него; он встал со стула.

– Что это, вы больны? – довольно резко спросил Никодим Фомич.

– Они и как подписывались, так едва пером водили, – заметил письмоводитель, усаживаясь на свое место и принимаясь опять за бумаги.

– А давно вы больны? – крикнул Илья Петрович с своего места и тоже перебирая бумаги. Он, конечно, тоже рассматривал больного, когда тот был в обмороке, но тотчас же отошел, когда тот очнулся.

– Со вчерашнего... – пробормотал в ответ Раскольников.

– А вчера со двора выходили?

– Выходил.

– Больной?

– Больной.

– В котором часу?

– В восьмом часу вечера.

– А куда, позвольте спросить?

– По улице.

– Коротко и ясно.

Раскольников отвечал резко, отрывисто, весь бледный как платок и не опуская черных воспаленных глаз своих перед взглядом Ильи Петровича.

– Он едва на ногах стоит, а ты... – заметил было Никодим Фомич.

– Ни-че-го! – как-то особенно проговорил Илья Петрович. Никодим Фомич хотел было еще что-то присовокупить, но, взглянув на письмоводителя, который тоже очень пристально смотрел на него, замолчал. Все вдруг замолчали. Странно было.

– Ну-с, хорошо-с, – заключил Илья Петрович, – мы вас не задерживаем.

Раскольников вышел. Он еще мог расслышать, как по выходе его начался оживленный разговор, в котором слышнее всех отдавался вопросительный голос Никодима Фомича... На улице он совсем очнулся.

«Обыск, обыск, сейчас обыск! – повторял он про себя, торопясь дойти; – разбойники! подозревают!» Давешний страх опять охватил его всего, с ног до головы.

II

«А что, если уж и был обыск? Что, если их как раз у себя и застану?»

Но вот его комната. Ничего и никого; никто не заглядывал. Даже Настасья не притрогивалась. Но, Господи! Как мог он оставить давеча все эти вещи в этой дыре?

Он бросился в угол, запустил руку под обои и стал вытаскивать вещи и нагружать ими карманы. Всего оказалось восемь штук: две маленькие коробки с серьгами или с чем-то в этом роде – он хорошенько не посмотрел; потом четыре небольшие сафьянные футляра. Одна цепочка была просто завернута в газетную бумагу. Еще что-то в газетной бумаге, кажется орден...

Он поклат все в разные карманы, в пальто и в оставшийся правый карман панталон, стараясь, чтоб было неприметнее. Кошелек тоже взял заодно с вещами. Затем вышел из комнаты, на этот раз даже оставив ее совсем настезь.

Он шел скоро и твердо, и хоть чувствовал, что весь изломан, но сознание было при нем. Боялся он погони, боялся, что через полчаса, через четверть часа уже выйдет, пожалуй, инструкция следить за ним; стало быть, во что бы ни стало надо было до времени схоронить концы. Надо было управиться, пока еще оставалось хоть сколько-нибудь сил и хоть какое-нибудь рассуждение... Куда же идти?

Это было уже давно решено: «Бросить все в канаву, и концы в воду, и дело с концом». Так порешил он еще ночью, в бреду, в те мгновения, когда, он помнил это, несколько раз порывался встать и идти: «поскорей, поскорей, и все выбросить». Но выбросить оказалось очень трудно.

Он бродил по набережной Екатерининского канала уже с полчаса, а может и более, и несколько раз посматривал на сходы в канаву, где их встречал. Но и подумать нельзя было

исполнить намерение: или плоты стояли у самых сходов и на них прачки мыли белье, или лодки были причалены, и везде люди так и кишат, да и отовсюду с набережных, со всех сторон, можно видеть, заметить: подозрительно, что человек нарочно сошел, остановился и что-то в воду бросает. А ну как футляры не утонут, а поплывут? Да и конечно так. Всякий увидит. И без того уже все так и смотрят, встречаясь, оглядывают, как будто им и дело только до него. «Отчего бы так, или мне, может быть, кажется», – думал он.

Наконец пришло ему в голову, что не лучше ли будет пойти куда-нибудь на Неву? Там и людей меньше, и незаметнее, и во всяком случае удобнее, а главное – от здешних мест дальше. И удивился он вдруг: как это он целые полчаса бродил в тоске и тревоге, и в опасных местах, а этого не мог раньше выдумать! И потому только целые полчаса на безрассудное дело убил, что так уже раз во сне, в бреду решено было! Он становился чрезвычайно рассеян и забывчив и знал это. Решительно надо было спешить!

Он пошел к Неве по В – му проспекту; но дорогою ему пришла вдруг еще мысль: «Зачем на Неву? Зачем в воду? Не лучше ли уйти куда-нибудь очень далеко, опять хоть на Острова, и там где-нибудь, в одиноком месте, в лесу, под кустом, – зарыть все это и дерево, пожалуй, заметить?» И хотя он чувствовал, что не в состоянии всего ясно и здраво обсудить в эту минуту, но мысль ему показалась безошибочною.

Но и на Острова ему не суждено было попасть, а случилось другое: выходя с В – го проспекта на площадь, он вдруг увидел налево вход во двор, обставленный совершенно глухими стенами. Справа, тотчас же по входе в ворота, далеко во двор тянулась глухая небеленая стена соседнего четырехэтажного дома. Слева, параллельно глухой стене и тоже сейчас от ворот, шел деревянный забор, шагов на двадцать в глубь двора, и потом уже делал перелом влево. Это было глухое отгороженное место, где лежали какие-то материалы. Далее, в углублении двора, выглядывал из-за забора угол низкого, закопченного, каменного сарая, очевидно, часть какой-нибудь мастерской. Тут, верно, было какое-то заведение, каретное или слесарное, или что-нибудь в этом роде; везде, почти от самых ворот, чернелось много угольной пыли. «Вот бы куда подбросить и уйти!» – вздумалось ему вдруг. Не замечая никого во дворе, он прошагнул в ворота и как раз увидал, сейчас же близ ворот, прилаженный у забора желоб (как и часто устраивается в таких домах, где много фабричных, артельных, извозчиков и проч.), а над желобом, тут же на заборе, написана была мелом всегдашняя в таких случаях острота: «Сдесь становитца воз прещено». Стало быть, уж и тем хорошо, что никакого подозрения, что зашел и остановился. «Тут все так разом и сбросить где-нибудь в кучку и уйти!»

Оглядевшись еще раз, он уже засунул и руку в карман, как вдруг у самой наружной стены, между воротами и желобом, где все расстояние было шириною в аршин, заметил он большой неотесанный камень, примерно, может быть, пуда в полтора весу, прилежавший прямо к каменной уличной стене. За этою стеной была улица, тротуар, слышно было, как шныряли прохожие, которых здесь всегда немало; но за воротами его никто не мог увидеть, разве зашел бы кто с улицы, что, впрочем, очень могло случиться, а потому надо было спешить.

Он нагнулся к камню, схватился за верхушку его крепко, обеими руками, собрал все свои силы и перевернул камень. Под камнем образовалось небольшое углубление; тотчас же стал он бросать в него все из кармана. Кошелек пришелся на самый верх, и все-таки в углублении оставалось еще место. Затем он снова схватился за камень, одним оборотом перевернул его на прежнюю сторону, и он как раз пришелся в свое прежнее место, разве немного, чуть-чуть казался повыше. Но он подгрел земли и придавил по краям ногою. Ничего не было заметно.

Тогда он вышел и направился к площади. Опять сильная, едва выносимая радость, как давеча в конторе, овладела им на мгновение. «Схоронены концы! И кому, кому в голову может прийти искать под этим камнем? Он тут, может быть, с построения дома лежит и еще столько же пролежит. А хоть бы и нашли: кто на меня подумает? Все кончено! Нет улик!» – и он засмеялся. Да, он помнил потом, что он засмеялся нервным, мелким, неслышным, долгим смехом, и

все смеялся, все время, как проходил через площадь. Но когда он ступил на К – й бульвар, где третьего дня повстречался с тою девочкой, смех его вдруг прошел. Другие мысли полезли ему в голову. Показалось ему вдруг тоже, что ужасно ему теперь отвратительно проходить мимо той скамейки, на которой он тогда, по уходе девочки, сидел и раздумывал, и ужасно тоже будет тяжело встретить опять того усача, которому он тогда дал двугривенный: «Черт его возьми!»

Он шел, смотря кругом рассеянно и злобно. Все мысли его кружились теперь около одного какого-то главного пункта, – и он сам чувствовал, что это действительно такой главный пункт и есть и что теперь, именно теперь, он остался один на один с этим главным пунктом, – и что это даже в первый раз после этих двух месяцев.

«А черт возьми это все! – подумал он вдруг в припадке неистощимой злобы. – Ну началось, так и началось, черт с ней и с новою жизнью! Как это, Господи, глупо!.. А сколько я налгал и наподличал сегодня! Как мерзко лебезил и заигрывал давеча с сквернейшим Ильей Петровичем! А впрочем, вздор и это! Наплевать мне на них на всех, да и на то, что я лебезил и заигрывал! Совсем не то! Совсем не то!..»

Вдруг он остановился; новый, совершенно неожиданный и чрезвычайно простой вопрос разом сбил его с толку и горько его изумил:

«Если действительно все это дело сделано было сознательно, а не по-дурачки, если у тебя действительно была определенная и твердая цель, то каким же образом ты до сих пор даже и не заглянул в кошелек и не знаешь, что тебе досталось, из-за чего все муки принял и на такое подлое, гадкое, низкое дело сознательно шел? Да ведь ты в воду его хотел сейчас бросить, кошелек-то, вместе со всеми вещами, которых ты тоже еще не видал... Это как же?»

Да, это так; это все так. Он, впрочем, это и прежде знал, и совсем это не новый вопрос для него; и когда ночью решено было в воду кинуть, то решено было безо всякого колебания и возражения, а так, как будто так тому и следует быть, как будто иначе и быть невозможно... Да, он это все знал и все помнил; да чуть ли это уже вчера не было так решено, в ту самую минуту, когда он над сундуком сидел и футляры из него таскал... А ведь так!..

«Это оттого, что я очень болен, – угрюмо решил он наконец, – я сам измучил и истерзал себя и сам не знаю, что делаю... И вчера, и третьего дня, и все это время терзал себя... Выздоровлю и... не буду терзать себя... А ну как совсем и не выздоровлю? Господи! Как это мне все надоело!..» Он шел не останавливаясь. Ему ужасно хотелось как-нибудь рассеяться, но он не знал, что сделать и что предпринять. Одно новое, непреодолимое ощущение овладевало им все более и более почти с каждой минутой: это было какое-то бесконечное, почти физическое отвращение ко всему встречавшемуся и окружающему, упорное, злобное, ненавистное. Ему гадки были все встречные, – гадки были их лица, походка, движения. Просто наплевал бы на кого-нибудь, укусил бы, кажется, если бы кто-нибудь с ним заговорил...

Он остановился вдруг, когда вышел на набережную Малой Невы, на Васильевском острове, подле моста. «Вот тут он живет, в этом доме, – подумал он. – Что это, да никак я к Разумихину сам пришел! Опять та же история, как тогда... А очень, однако же, любопытно: сам я пришел или просто шел да сюда зашел? Все равно; сказал я... третьего дня... что к нему после *того* на другой день пойду, ну что ж, и пойду! Будто уж я и не могу теперь зайти...»

Он поднялся к Разумихину в пятый этаж.

Тот был дома, в своей каморке, и в эту минуту занимался, писал, и сам ему отпер. Месяца четыре как они не видались. Разумихин сидел у себя в истрепанном до лохмотьев халате, в туфлях на босу ногу, всклокоченный, небритый и неумытый. На лице его выразилось удивление.

– Что ты? – закричал он, осматривая с ног до головы вошедшего товарища; затем помолчал и присвистнул.

– Неужели уж так плохо? Да ты, брат, нашего брата перещеголял, – прибавил он, глядя на лохмотья Раскольникова. – Да садись же, устал небось! – и когда тот повалился на клеенчатый

турецкий диван, который был еще хуже его собственного, Разумихин разглядел вдруг, что гость его болен.

– Да ты серьезно болен, знаешь ты это? – Он стал щупать его пульс; Раскольников вырвал руку.

– Не надо, – сказал он, – я пришел... вот что: у меня уроков никаких... я хотел было... Впрочем, мне совсем не надо уроков...

– А знаешь что? Ведь ты бредишь! – заметил наблюдавший его пристально Разумихин.

– Нет, не брежу... – Раскольников встал с дивана. Подымаясь к Разумихину, он не подумал о том, что с ним, стало быть, лицом к лицу сойтись должен. Теперь же, в одно мгновение, догадался он, уже на опыте, что всего менее расположен, в эту минуту, сходиться лицом к лицу с кем бы то ни было в целом свете. Вся желчь поднялась в нем. Он чуть не захлебнулся от злобы на себя самого, только что переступил порог Разумихина.

– Прощай! – сказал он вдруг и пошел к двери.

– Да ты постой, постой, чудак!

– Не надо!.. – повторил тот, опять вырывая руку.

– Так на кой черт ты пришел после этого! Очумел ты, что ли? Ведь это... почти обидно. Я так не пушу.

– Ну, слушай: я к тебе пришел, потому что, кроме тебя, никого не знаю, кто бы помог... начать... потому что ты всех их добрее, то есть умнее, и обсудить можешь... А теперь я вижу, что ничего мне не надо, слышишь, совсем ничего... ничьих услуг и участия... Я сам... один... Ну и довольно! Оставьте меня в покое!

– Да постой на минутку, трубочист! Совсем сумасшедший! По мне ведь как хочешь. Видишь ли: уроков и у меня нет, да и наплевать, а есть на Толкучем книгопродавец Херувимов, это уж сам в своем роде урок. Я его теперь на пять купеческих уроков не променяю. Он этикие изданица делает и естественнонаучные книжонки выпускает, – да как расходятся-то! Одни заглавия чего стоят! Вот ты всегда утверждал, что я глуп; ей-богу, брат, есть глупее меня! Теперь в направление тоже полез; сам ни бельмеса не чувствует, ну а я, разумеется, поощряю. Вот тут два с лишком листа немецкого текста, – по-моему, глупейшего шарлатанства: одним словом, рассматривается, человек ли женщина или не человек? Ну и, разумеется, торжественно доказывается, что человек. Херувимов это по части женского вопроса готовит; я перевожу; растянет он эти два с половиной листа листов на шесть, присочиним пышнейшее заглавие в полстраницы и пустим по полтиннику. Сойдет! За перевод мне по шести целковых с листа, значит, за все рублей пятнадцать достанется, и шесть рублей взял я вперед. Кончим это, начнем об китах переводить, потом из второй части «Confessions» какие-то скучнейшие сплетни тоже отметили, переводить будем; Херувимову кто-то сказал, что будто бы Руссо в своем роде Радищев. Я, разумеется, не противоречу, черт с ним! Ну, хочешь второй лист «Человек ли женщина?» переводить? Коли хочешь, так бери сейчас текст, перьев бери, бумаги – все это казенное – и бери три рубля: так как я за весь перевод вперед взял, за первый и за второй лист, то, стало быть, три рубля прямо на твой пай и придутся. А кончишь лист – еще три целковых получишь. Да вот что еще, пожалуйста, за услугу какую-нибудь не считай с моей стороны. Напротив, только что ты вошел, я уж и рассчитал, чем ты мне будешь полезен. Во-первых, я в орфографии плох, а во-вторых, в немецком иногда просто швах, так что все больше от себя сочиняю и только тем и утешаюсь, что от этого еще лучше выходит. Ну а кто его знает, может быть, оно и не лучше, а хуже выходит... Берешь или нет?

Раскольников молча взял немецкие листки статьи, взял три рубля и, не сказав ни слова, вышел. Разумихин с удивлением поглядел ему вслед. Но дойдя уже до первой линии, Раскольников вдруг воротился, поднялся опять к Разумихину и, положив на стол и немецкие листы, и три рубля, опять-таки ни слова не говоря, пошел вон.

– Да у тебя белая горячка, что ль! – заревел взбесившийся наконец Разумихин. – Чего ты комедии-то разыгрываешь! Даже меня сбил с толку... Зачем же ты приходил после этого, черт?

– Не надо... переводов... – пробормотал Раскольников, уже спускаясь с лестницы.

– Так какого же тебе черта надо? – закричал сверху Разумихин. Тот молча продолжал спускаться.

– Эй, ты! Где ты живешь?

Ответа не последовало.

– Ну так чер-р-рт с тобой!..

Но Раскольников уже выходил на улицу. На Николаевском мосту ему пришлось еще раз вполне очнуться вследствие одного весьма неприятного для него случая. Его плотно хлестнул кнутом по спине кучер одной коляски, за то что он чуть-чуть не попал под лошадей, несмотря на то что кучер раза три или четыре ему кричал. Удар кнута так разозлил его, что он, отскочив к перилам (неизвестно почему он шел по самой середине моста, где ездят, а не ходят), злобно заскрежетал и зашелкал зубами. Кругом, разумеется, раздавался смех.

– И за дело!

– Выжига какая-нибудь.

– Известно, пьяным представится да нарочно и лезет под колеса; а ты за него отвечай.

– Тем промышляют, почтенный, тем промышляют...

Но в ту минуту, как он стоял у перил и все еще бессмысленно и злобно смотрел вслед удалявшейся коляске, потирая спину, вдруг он почувствовал, что кто-то сует ему в руки деньги. Он посмотрел: пожилая купчиха, в головке и козловых башмаках, и с нею девушка, в шляпке и с зеленым зонтиком, вероятно дочь. «Прими, батюшка, ради Христа». Он взял, и они прошли мимо. Денег двугривенный. По платью и по виду они очень могли принять его за нищего, за настоящего собирателя грошей на улице, а подаче целого двугривенного он, наверно, обязан был удару кнута, который их разжалобил.



Он зажал двугривенный в руку, прошел шагов десять и оборотился лицом к Неве, по направлению дворца. Небо было без малейшего облачка, а вода почти голубая, что на Неве так редко бывает. Купол собора, который ни с какой точки не обрисовывается лучше, как смотря на него отсюда, с моста, не доходя шагов двадцать до часовни, так и сиял, и сквозь чистый воздух можно было отчетливо разглядеть даже каждое его украшение. Боль от кнута утихла, и Раскольников забыл про удар; одна беспокойная и не совсем ясная мысль занимала его теперь исключительно. Он стоял и смотрел вдаль долго и пристально; это место было ему

особенно знакомо. Когда он ходил в университет, то обыкновенно, – чаще всего возвращаясь домой, – случалось ему, может быть, раз сто, останавливаться именно на этом же самом месте, пристально вглядываться в эту действительно великолепную панораму и каждый раз почти удивляться одному неясному и неразрешимому своему впечатлению. Необъяснимым холодом веяло на него всегда от этой великолепной панорамы; духом немым и глухим полна была для него эта пышная картина... Дивился он каждый раз своему угрюмому и загадочному впечатлению и откладывал разгадку его, не доверяя себе, в будущее. Теперь вдруг резко вспомнил он про эти прежние свои вопросы и недоумения, и показалось ему, что не нечаянно он вспомнил теперь про них. Уж одно то показалось ему дико и чудно, что он на том же самом месте остановился, как прежде, как будто и действительно вообразил, что может о том же самом мыслить теперь, как и прежде, и такими же прежними темами и картинами интересоваться, какими интересовался... еще так недавно. Даже чуть не смешно ему стало и в то же время сдавило грудь до боли. В какой-то глубине, внизу, где-то чуть видно под ногами, показалось ему теперь все это прежнее прошлое, и прежние мысли, и прежние задачи, и прежние темы, и прежние впечатления, и вся эта панорама, и он сам, и все, все... Казалось, он улетал куда-то вверх и все исчезало в глазах его... Сделав одно невольное движение рукой, он вдруг ощутил в кулаке своем зажатый двугривенный. Он разжал руку, пристально поглядел на монетку, размахнулся и бросил ее в воду; затем повернулся и пошел домой. Ему показалось, что он как будто ножницами отрезал себя сам от всех и всего в эту минуту.

Он пришел к себе уже к вечеру, стало быть, проходил всего часов шесть. Где и как шел обратно, ничего он этого не помнил. Раздевшись и весь дрожа, как загнанная лошадь, он лег на диван, натянул на себя шинель и тотчас же забылся...

Он очнулся в полные сумерки от ужасного крику. Боже, что это за крик! Таких неестественных звуков, такого воя, вопля, скрежета, слез, побой и ругательств он никогда еще не слышивал и не видывал. Он и вообразить не мог себе такого зверства, такого исступления. В ужасе приподнялся он и сел на своей постели, каждое мгновение замирая и мучаясь. Но драки, вопли и ругательства становились все сильнее и сильнее. И вот, к величайшему изумлению, он вдруг расслышал голос своей хозяйки. Она выла, визжала и причитала, спеша, торопясь, выпуская слова так, что и разобрать нельзя было, о чем-то умоляя, – конечно, о том, чтоб ее перестали бить, потому что ее беспощадно били на лестнице. Голос бывшего стал до того ужасен от злобы и бешенства, что уже только хрипел, но все-таки и бывший тоже что-то такое говорил, тоже скоро, неразборчиво, торопясь и захлебываясь. Вдруг Раскольников затрепетал как лист: он узнал этот голос; это был голос Ильи Петровича. Илья Петрович здесь и бьет хозяйку! Он бьет ее ногами, колотит ее головою о ступени, – это ясно, это слышно по звукам, по воплям, по ударам! Что это, свет перевернулся, что ли? Слышно было, как во всех этажах, по всей лестнице собиралась толпа, слышались голоса, восклицания, всходили, стучали, хлопали дверями, сбегались. «Но за что же, за что же, и как это можно!» – повторял он, серьезно думая, что он совсем помешался. Но нет, он слишком ясно слышит!.. Но, стало быть, и к нему сейчас придут, если так, «потому что... верно, все это из того же... из-за вчерашнего... Господи!» Он хотел было запереться на крючок, но рука не поднялась... да и бесполезно! Страх, как лед, обложил его душу, замучил его, окоченил его... Но вот наконец весь этот гам, продолжавшийся верных десять минут, стал постепенно утихать. Хозяйка стонала и охала, Илья Петрович все еще грозил и ругался... Но вот наконец, кажется, и он затих; вот уж и не слышно его; «неужели ушел! Господи!» Да, вот уходит и хозяйка, все еще со стоном и плачем... вот и дверь у ней захлопнулась... Вот и толпа расходится с лестниц по квартирам, – ахают, спорят, перекликаются, то возвышая речь до крику, то понижая до шепоту. Должно быть, их много было; чуть ли не весь дом сбежался. «Но, Боже, разве все это возможно! И зачем, зачем он приходил сюда!»

Раскольников в бессилии упал на диван, но уже не мог сомкнуть глаз; он пролежал с полчаса в таком страдании, в таком нестерпимом ощущении безграничного ужаса, какого никогда

еще не испытывал. Вдруг яркий свет озарил его комнату: вошла Настасья со свечой и с тарелкой супа. Посмотрев на него внимательно и разглядев, что он не спит, она поставила свечку на стол и начала раскладывать принесенное: хлеб, соль, тарелку, ложку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.